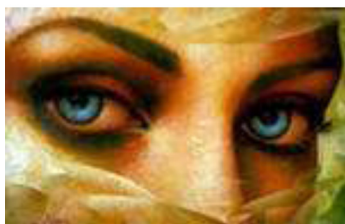


*Анатолий
Санжаровский*



**შოგკარნატსკაა
ფაუცტ**

Анатолий Никифорович Санжаровский

Подкарпатская Русь (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9578024
Подкарпатская Русь (сборник): Книга по требованию; Москва; 2013
ISBN 978-5-458-68414-9

Аннотация

Дилогию «Подкарпатская Русь» составляют романы «Русиния» и «В центре Европы».

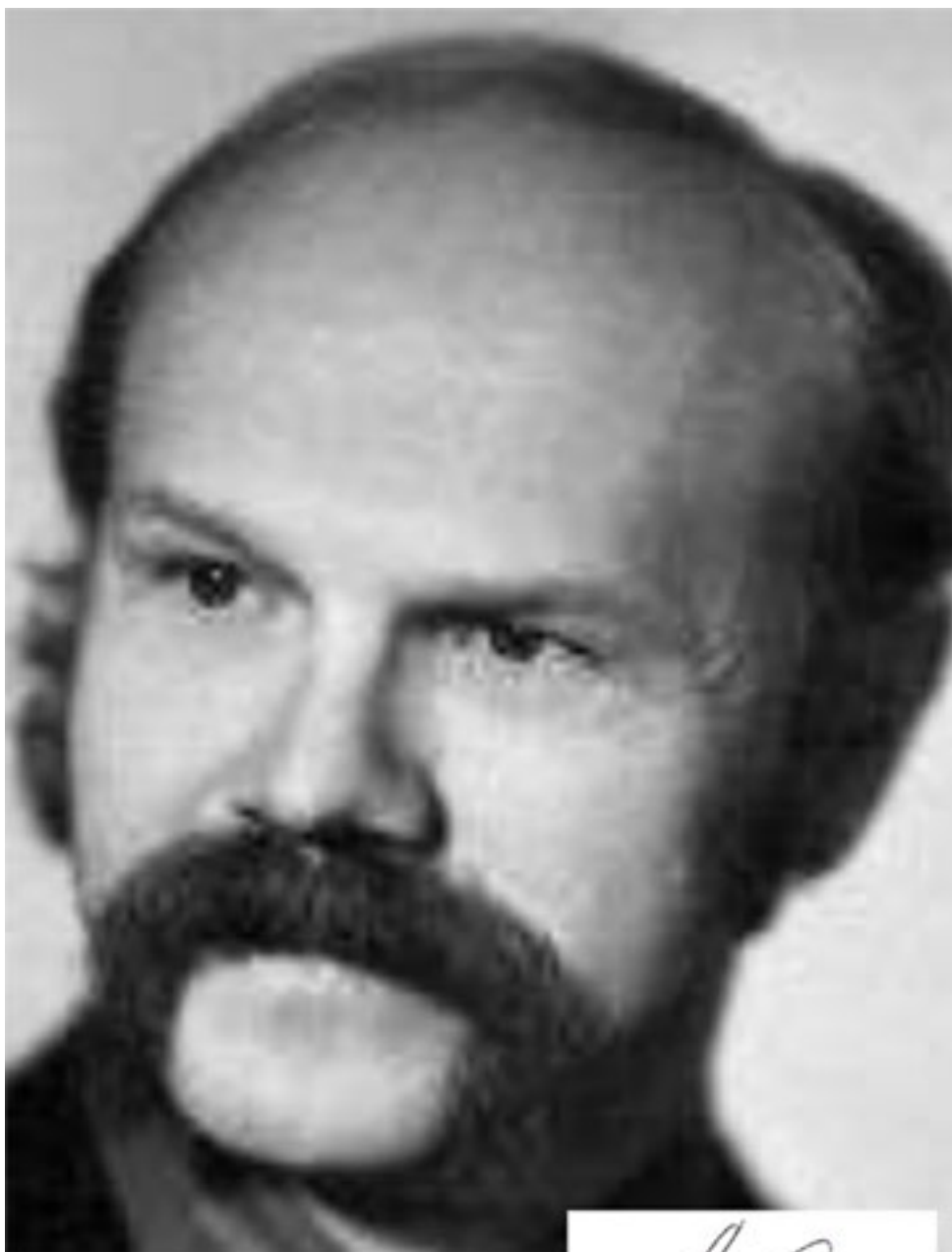
«Особенно нравится мне язык», – так, в частности, отзывался великий русский писатель Василий Белов о романе Анатолия Санжаровского «Русиния», рассказывающем о жизни русинов у себя на Родине, в Подкарпатской Руси, а также в Канаде и США.

Роман «В центре Европы» повествует о молодых русинах, строивших на своей земле в Подкарпатской Руси последний участок легендарного русского газопровода, по которому вот уже более 30 лет русский газ идёт из России в Европу, того самого газопровода, о котором сейчас гудит вся Европа. Этот газопровод сейчас у всего мира на слуху.

Содержание

Русиния	6
1	7
2	11
3	14
4	17
5	20
6	23
7	26
8	29
9	32
10	35
11	38
12	43
13	46
14	49
15	53
16	58
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Анатолий Санжаровский **Подкарпатская Русь (сборник)**



А. Сан.



Русиния

*У каждого блудного сына
Есть память. Её не отнять.
Есть верба, берёзка, рябина,
Живая иль мёртвая мать,
И время, которое мчится,
И старость в положенный срок.
Но что в его сердце творится –
Не знают ни люди, ни Бог.*

Владислав Вепринцев
Англия

Какие бы берега река ни размыла,
всё равно она в старое русло возвращается.
За морем теплей, да дома милей.

Русинские пословицы

1

*Куда сердце летит, туда и око глядит.
В один день по две радости не живёт.*

И не было у старухи Анны длинной и мучительней ночи.

Старуха не спала, даже не сомкнула и разу глаз. Лежала, вслушивалась в тишину за окном, вслушивалась в липкую тишину дороги. Она распрекрасно знала, что только завтра, ближе туда к полднику, отправится в Мукачево Торбиха к московскому поезду, что повезёт её, разъединую, на автобусе её же сын Василько, повезёт сразу, как только расает доярок по домам с обеденной дойки – про всё про то Василько сам вчера пел на все лады.

Василька старуха видела в своей хате не каждый ли божий вечер. Конечно, оно уже так, где коза, туда и козёл через тын глядит.

Подобрела, совсем выросла Маричка, стала вертёшка внученька роскошной, парадной невестой. Тот-то чья-то радость спеет...

Приворачивал Василько под тем благовидным предлогом, что вместе с Маричкой заочно учился на агронома, до четвёртого уже курса доскакали, и старуха говорила, что она тоже уже на четвёртом курсе, поскольку не пропустила ни одного вечера, когда Василько был с Маричкой в её, старухином синем свежешахнутом елью теремке, жившем одной своей половиной на Ивановой усадьбе, а другой – на Петровой. Молодые читали-решали там что, старуха вязала. Одних не спокidataла. Как только Василько на порог, а старухи нету, срочно объявлялся вседеревенский розыск. Умучится, запарится, бывало, Иван, а неминуче доищется-таки её. Тут же погорячливый указ:

– Мамко! Вам на лекцию. Сами профессор дожидаются!

Со Воздвиженья – кафтан с шубой сдвинулся – зачистил Василько через день да каждый день, поёт, материал пошёл трудный, одному ума не дать.

И не поймёт старуха, то ли студент Василько, то ли ухаживатель, то ли то и то разом, только видит, переломила гордая Маричка своё серденько к парубку, полюбила тоже – до смерточки нравится он ей, у души лежит.

Глянулся и старой Василько, уважительный, видный с лица – из десятку не выбросишь! – вышла старуха из Ивановой воли, наладилась покидать молодых. Совестно на них тишком таращиться поверх спиц, как журавль в кувшин, не рука мимо воли своей лезть в чужую лавочку.

И стала ловить причины выскочить из хаты в вечер: услышит, проходит кто-то мимо, увеется, с час её нет – короче все новости не обговоришь; подал голос пёс, спешит утихомирить пса да заодно подразведать, кто ж это там не внушил ему симпатию.

– Василько, ты как повезёшь мамку на станцию, так подверни ко мне на минуточку.

Пообещал Василько.

Можно было не беспокоиться, слово у парубка верное. Ан нет. Нету веры самой себе, до звона в ушах вслушивается в тишину дороги; сначала отдалённо, глухо, потом всё ясней, нарастающе вьётся в душу монотонный пчелиный стон именно Василькова автобуса. Старуха не спутает его ни с каким другим.

Старуха всполошённо вскакивает, налётом летит к калитке в зелёных железных воротах, к груди припиная подушечками пальцев накиннутую поверх плисовую фуфайку.

Но чёрная дорога пуста.

Нигде ни огонёшка.

Ни к старухе, ни от старухи.

Старуха, боясь, что вывалится кто из соседних или из своих же, из сыновых, школ (и у соседей, и у Петра, и у Ивана эва какие хоромины, старуха навеличивала их школами), застанет её, распатланную, в чёрно стекавшей до пят сорочке, в напахнутой на плечи фуфайке, неслышно утягивается назад; и калитку, и дверь в свою ладную хатку, где так поглянулось заниматься внукам, старуха оставляет незапертыми на крючок: а вдруг он вернётся, а вдруг он нагрянет, а у нас всё закрыто, подумает, что его не ждут, вовсе не ждут, того и заперлись именно от него.

Легла старуха; уже через какие-то малые минуты привстав, снова надставила ухо – вслушивалась в жизнь дороги, и снова явственно слышала знакомый стон, и снова, одетая с испугу холодом – ах, прохлопала! – вскакивала.

За ночь она раз пять выбегала на дорогу, да понапрасну всё.

Зато утром, на первом свету, когда в спехе подоила и проводила в стадо свою Цватулю, как стала у плетня, так мёртво и простояла ровно до той поры, покуда в дальней ещё дали не завидела Васильков автобус.

Выскочила старуха на серёдку дороги, неистово растарасила в стороны плотные кулачины с махотку.

«Стойте! Стойте! – и молил, и требовал решительный её вид. Предупреждал: – А и не станете – не сойду!»

Натянула Торбиха губы.

Настороже сбычила на старуху глаза:

«Лихоманка тебя сгреб!»

Сколько Лизка Торбиха себя знала, её мать никогда не жаловала Голованей, обегала. Ни с самой Голованихой, ни с ребятами и разу не заговорила. Не забылось, не выпало из ума и то, что при всякой встрече Голованихины хлопцы с поклоном здоровались – старая молча отворачивалась. Почему? На Лизкины расспросы мать не отвечала.

Торбиха не сводила злых, как у волчицы на привязи, глаз с приближавшейся старухи Анны, похожей на крест. Смято пустила меж зубов:

– Накинь газку... Провей сторонкой...

– С чего бы это? – Василь зорковато покосился на мать, сидела сбоку на переднем сиденье. – Поищи дурачков в стране Буратино. А я обещал бабе Ане. Я и...

Василь нарочито выключил мотор. Подбился к обочине.

– Спасибо, Лизушка! Спасибо, родимка! – радостно запричитала старуха, дородная, крепкая, тряско подбегая к дверце, что встречно открывалась с подскрипом.

«Вот Маша деловая...»

Из-под набухлых бровей Торбиха пасмурно косилась на суетливую, шилом вертевшуюся старуху, из великой милости чуть поворотилась к той лицом:

– Баб! Ты с какого будешь году?

– Со старого, Лизушка. Со старого... Старе поповской собаки!

– Оно и видать. Совсем уже рухнула на кактус... Нетерпёжка тебя спалила. Ты чё ж выползла на саму на центру? А ну стопчи какой ветрогон колёсами. Чё тогда?

– А ничего тогда, Лизушечка, – отдыхиваясь, ласково пела старуха. – Совсемушко ничегошеньки... Беда – мой дом... Я, Лизочка... – старуха споткнулась, потерялась, виновато сложила тяжёлые руки на груди, – я... я... я и не знаю, с какого боку забежать с просьбушкой.

Розвалева Торбиха, расплывшаяся на всё двухместное сиденье, – толщи она была безмерной, оттого, даром что имела своего «Жигулёнка», колыхалась одна в автобусе: ни в какой же легковик её не запихнёшь! – нарочито глубоко, до дна лёгких, вздохнула, так что от втягиваемого воздуха заходила оконная занавеска. Судорожно сглотнула слюну.

– Опять за рыбу гроши? И мне тоже – *посмотри тамочки моего?*

– Эге ж, Лизушка, посмотри, – горячечно зашептала старуха. – До краю жизни буду помнить, родимка!

Шатнулась от старухи Торбиха, поскуцнела лицом.

Тихое озлобление легло в каменный охриплый голос:

– Ой, бабо! Ой, баламутка! Разболталась, як тещин язык... И где прикажешь смотреть? По тельвизеру? Иль, можь, в широком цветном кине?

– Высоки те пороги на наши ноги... Так высоко мой не залетит, – вслух подумала старуха. Помолчала. В осторожи подсказала: – А ты в жизни... А ты в людях поспытай.

– Толечко и осталось! Да народу ж кругом, как песку окиянского! Чё теперь, носись от окияна до окияна по всей неисходимой белой стыни, тереби всякого-каждого: не знали Ван Ваныча Голованя? Не видали – не пробежал тут часом Ван Ваныч Головань?.. Пустой, горевая душа твоя, номер. Пусто-ой!

Старуха расшибленно сникла.

Накаляясь, всё ересливей забирала Торбиха:

– Ей-бо, ума не взведу... Как репьях придорожный, хошь к кому припьёшься. Кто куда ни едь, ко всякому со своей нескладицей насыпаешься. А подумай ежли?!

– Я, Лизушка, и думаю, – неуверенно возразила старуха. – Живое живёт и думает... Как не думать? Не иголка эть. Чело-век!

– Да и Канадочка не стог. Шутка ли в деле... Где искать? Как искать? Ду-уренькая...

Торбиха хохотнула и раз, хохотнула и два, будто заводила смех, будто брала разгон для смеха.

Но, летуче глянув в глаза старухе, обиженно смотревшей исподлобья и готовой дать вспышку, натянуто замолчала.

Молчала и старуха, лишь одними глазами подгоняла: ну говори, говори, выговаривайся!

Торбиха покосилась на Василя, лежал лицом на скрещённых на руле руках, наклонилась к старухе. Доверительно спросила:

– Ой! Иль у тебя кисель в коробке? Дуренькая! Ну на коюшки искать-то?

Будто морозом одело старуху. Дрогнула от неожиданно вывороченного вопроса. Словно отгоняя, отталкивая его, замахала обеими руками на Торбиху:

– Будет тебе колотить без пути. Да как это не искати? Человек же! Под годами. Ветхий уже, поди... Люди помирают и дома... А он? Гдей-то он? Може, хвороба взяла... Лежью лежит... Сытый ли? Чиста ль на ём рубаха? Ель кому подати воды? Узнать бы, где он, что с ним, я б тогда в покой вошла...

Торбиха осоловело вылупилась на старуху.

Спросила абы спросить:

– Будь живой, разь не дал бы вести?

– А може, оттуда и не дашь. Вон на неделе съявился один в Ракошине. Сорок два летушка ани слуху ани духу. А тут тебе р-раз и на! Выщелкнулся! Петро возил к нему на легковике. Полдня распытывала... Не... Не встречал моего. Велика Канадонька... Расставалась я со своим... Иванко на руках, Петуся под серденьком во мне... Ох и времечко какое большое сошло-слилось... Тебя ж, как и Петра моего, ещё не было на свете, как разома уходили Ваши батьки в заморье...

– А мне уже полста набежало...

– Везучая... Повидаешься со своим... Тогда в соседях жили! Гляди, и там по-соседски держатся... Поспытай-таки, родимушка... Подобенки¹ его у меня нету. Зато, – старуха

¹ Подобенка – фотокарточка.

достала с груди фотографию, – я дам тебе эту. Тут Иван и Петро. Сыны. Иван – вылитый сам. Возьми, родимушка...

Торбиха милостиво приняла фотографию.

Фотография была тёплая.

2

*Бедя беду видит по следу.
Бедя беду найдет, хоть и солнце зайдёт.
Бедность за море гонит.*

В былые чёрные времена карпатского мужика, русина², иначе и не называли, как бедак, то есть бедняк, горький пан беды.

Своего у русина было столько поля, что заяц перескочит, а урожай и мышь унесёт. Пустую, яловую землю не накажешь. Как захочет, так и уродит.

Счастлив был русин, если в семье рос сын.

Русин – сын Руси!

Сын был всё. С сыном связывались все надежды на широкую долю. Не во всяком ли доме сын виделся в будущем таким волшебником-богатырём, кто выведет на свет из долгого тёмного тоннеля заблудившийся бесконечный поезд со всеми – до воли! – богатствами, какие только и могла нарисовать больная фантазия постоянно голодного человека.

Русин перебивался с хлеба на воду, жил с дня на день, и силу ему давала вера, что вот растёт сын, что вот вырастет, вот поднимется сыновец и тогда непременно всё в доме переломится в райскую сторону: сходит сын за чужое море, добудет в дом спокойный богатый достаток.

Сына торопили с женитьбой, торопили с детьми. И обязательно парню-первенцу пристёгивали имя молодого, ещё не мудрого годами, отца.

Зачем?

И в знак уважения к молодому отцу.

И в знак памяти о молодом отце.

Уж кто-кто, а старики знали, что уезжавшие – люди часто пропащие. Раз пошёл человек – как камень в воду.

Мало кто возвращался из заморья. И коль забрала чужбина самого отца, так пускай хоть память про него живёт дома в имени сына.

У Ивана уже бегали четыре девочки-погодки.

Да только кто ж им рад?

² «Русины, Рутены (нем. Russinnen, Ruthenen) – употребляемое преимущественно поляками и немцами название русского населения австро-венгерских земель в отличие от русских (русских подданных), причём название рутены – средневековое латинское название вообще русских, а русины – неправильное образование множественного числа от единственного числа русин. Сами русины зовут себя в ед. числе русин, во множ. числе – русскими, веру свою – русскою, свой народ и язык – русскими. Ы сохранилось у них как великорусское и употребляется после гортанных: кыдати, гынути. Русины живут по обоим склонам Карпат, в Галиции, Буковине и Венгрии, и принадлежат к южнорусской части русского племени, отличаясь от малоруссов (украинцев) как особенностями языка, так и физическим складом и этнографическими признаками, вследствие условий жизни и давнего отделения «закордонной Руси» от основного племени. В 1890 году в Австро-Венгрии насчитывался 3105221 русин, но эта цифра, без всякого сомнения, гораздо ниже действительности. В Австро-Венгрии счёт при переписи ведётся не по национальностям, а по разговорному языку; между тем многие русские, в особенности городские учителя и служащие, или вообще не пользуются русским языком в домашнем обиходе, или же находят для себя выгодным или удобным выдавать себя за немцев и поляков – в Галиции, за мадьяр – в Венгрии, за немцев и румын – в Буковине. Русинов в Галиции насчитывается 2835674 человека. Верховинцы (обитатели верхов или гор) иначе горешняне, непосредственные соседи галицких русинов, к которым они ближе всего по языку, живут в возвышенных частях комитатов (округов) Мармарошского, Бережского и Ужгородского. Они лучше других сохранили свой первоначальный тип сильного пастушеского племени. Обыкновенно флегматичные, в минуту опасности обнаруживают большое мужество и даже на медведя решаются выходить с одним ножом в руках. Скотоводство – любимое занятие верховинцев».(Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Эфрона, 1899 год, 53 том, стр. 296–297.)

– Вот что! – пригрозил Иван молодой жёнке, ходила в тяжести. – Притащишь пятую девку – в Боржаве вместе с тобой затоплю. Давай-но у дом хозяина. Парубка давай! Ты там уж постарайся как, что ли... Получше ищи сына. Сы – на!

Нашёлся хлопчик.

Родился, как в мешке: квёлый, хиловатый. Одно основанье при нём – кожа да кости.

Назвали Иваном.

В пожизненные долги втолкал всю родню Иван-старшой, а скопил-таки, сбил денег на дорогу; клялся-божился высылать оттуда всё до копыя...

Уехал, так и потерялся без вестей в тех Штатах.

Ни писем, ни денег не гнал.

Затосковала мать со своими горюшатами, расхворалась, спала с тела, в нитку вытянулась. Болезнь и нужда прибрали её.

Сирот мал маламень разобрали по одному дядья-тётки. Вошёл Иван-младшой в совершеннолетие, принял брак, взял из такой же бедной фамилии, как и сам.

За Аннушкой положили в приданое клочок земли, распахонькую хатку-соломенку, тесную – пальца пропихать некуда. Ну да Бог-то с ней, с плохонькой. Ну да Бог-то с ней, с тесной. Главное, крыша над головой! Что ж ещё?

Аннушка оказалась не промах.

С первого же раза получай, Иван, Иванушку!

Расправил мужилка изношенные в работе худые плечишки. Подступает к Аннушке с беседой.

– Надобно жить так, чтобышко во всем порядок плясал. Вот дала сынака – порядок! Но на этом покуда порядок у нас и кончается. Разве, – трудно пригнул к выполированной в работе ладони клешню мизинец, – это порядок, что мы ни за грамочку ломаем на пана горб? Разве пан видит наши слёзы? От слёз он твердеет от наших, как берёза от воды. Разве, – загнул безымянный, – это порядок, что крыша не нонь-завтра накроет нас шапкой? Разве, – ещё загнул палец, – порядок, что при живых больших детях где-то беспризорником блукает по той Штатской земле нянько?³ Ни долларика не пригнал. Ни центика от него не видели... Что он там, американских собак дражнит? Иль, можь, Богу работает⁴?

– Поняй посмотри... – обречённо прошептала Анна, видя, под что это бьёт Иван клин.

– И пойду, и пригоню блудня. Пол-улицы сымаётся... Вербовщик насаказал такейсько!.. Пойду со всема. Коль на плечах добра голова, заработаю и на нову хату, и на хлеб, и к хлебу. А оттуда кружком в Штатскую землю. Живой не буду, а примчу нянька добирать последние часы дома.

На дорогу надо было восемь тысячч.

Капиталов таких молодые и во сне не держали. И сошлись на том, что тысячку подзаяняли у еврея-магазинщика, умолили продать корову и тёлку – приходились на пять семей дядек и тётек, задешево пустили Аннушкино приданое – землю.

Земля та стоила воза денег, но ловить большие не стали, малыми бы кто подживил, абы на дорогу сбиться. И землю ту продали не насовсем, а так, на уговоре отдали: через год ежели не возвернём деньжанятки, твоя, пан, земля на век вековущий.

Расчуял пан наживу. Видит, некуда Голованям деваться, срезал и так с малой цены ещё полцены, подумал-подумал да снял ещё четверть, да ещё полчетверти...

Мало ему задарма взятой земли. С наказом толкается:

– Смотри, Иване, не утвори, как батько твой.

³ Нянько (ласковое) – папка, папочка.

⁴ Богу работать – сидеть в тюрьме.

– Да Вы что! Не пособи мне в том Господь – сам не сделаю. Как можно спокинуть семью без ничего?

Смолчал пан. Только усмехнулся в душе, веря, всё польётся так, как ему и думалось. А думал пан про то, что всё в жизни повторяется. Качнулся вон дед ухватить заокеанский капиталец – укатали старого американские джорджики. Там и сгинул в неизвестности. Ушёл батько – голосу не подаёт, не то что денег. Уцелился вот сынаш...

«А батько, доведася я стороной, без хаты там, без работы. Вскочил ты, парубоче, в батькову колею. Ты уже в той колее с первой минуты твоего начала... Не будь ты в той колее, да разве б я брал под условие у тебя землю?» – в довольстве млел пан, зная, не всё так деется, как в параграфе написано. Ради приличия посочувствовал. Вышло наигранно. В голосе у него лаку кипело выше глаз:

– И что вы вцепились в ту Америку, как блоха в собаку?

– А я и не иду в ту Америку! – ответил Иван. – Нету больше у нас в роду ей веры. В Канадоньку я...

– А-а-а... – неопределённо протянул пан, думая: «Там тоже ухватишь шилом патоки... Поменял ты, тюха-матюха, слепую кобылу на носатую».

Упылил Иван в апреле.

А уже в октябре подал, пригнал первые деньги.

Не слилось и года, откупили назад Аннушкино приданое, разошлись долгами с магазинщиком. И такой богатой почувствовала себя Анна, как курица на куче зерна.

А Иван всё слал долларики, всё слал письма, ласковые, скучливые. С месяца на месяц обещался вернуться насовсемушко и вдруг будто кто обрубил. Ни писем, ни денег.

Что хочешь, то и думай.

3

*Печаль не солнце, а сушит.
К беде дорог много, а от беды и стёжки нет.*

Торбиха вернулась!
– Торбиха вернулась!

Ни дать ни взять съехало село с ярмарки. В какую сторону ни пусти шаг, только и шуму, только и радости:

– Торбиха вернулась!
– Торбиха вернулась!!
– Торбиха вернулась!!!

Заслышала про то старуха Анна – сжалась, потерялась вся.

Страшно вдруг стало узнать давножданые вести, прижало уёрзнуть и от Торбихи, и от всяких новостей, добрых ли, худых ли.

Не выбирая тропки, выскочила на осенний огород, опустелый, растерзанный, скорбный.

От Торбихи упрятаться впросте, думала она чуть погода.

А от молвы?

У притворенной, не закрытой на вертушок калитки, что вела в поле, старуха опустила тяжёлую руку на заострённую штакетину, невольно сронила с плеча усталый взгляд на огород.

Уныло сыпала предвечерняя изморось.

В лунки, оставшиеся после копки картошки, тяжело накидало дождя. Меж блюдец воды там, там, там – повсюду – мёртво, поверженно валялись вывороченные с корня, уже без шляпок, подсолнуховы будылья.

«Боже! Какой же тут Мамай бушевал?»

Сколько себя помнила, утрами-вечерами толклась она до пота в огороде. Что отщипывал в плату зажимистый принц Рудольф, у которого в придорожной харчевне и стряпала, и налаживала, подавала на стол, что отстёгивал потом колхоз – всё это мелко лилось лишь в приварок к тому единственно надёжному, что отламывал один огород.

За этим клочком – в когдашнюю пору его подарили ей в приданое – они вместе несли уход. Сынов подняла ему эта земля. Каждую весну, каждое лето её холили, не на цыпочках ли ходили, только уроди, без меры насыпь в погреба картошки, насыпь досхочу прочей огородины; едва не молились на высокие крепкие подсолнухи, изо дня в день поворачивавшие навстречь солнцу свои золотые головы, чтобы семя больше взяло солнечной силы.

А настал час, посрезали шляпки, будылья кинули гибнуть под дождями. Какие мы по осени мамай...

Подавленно уронила старуха взгляд и обмерла: из-под резинового её сапога, из чёрной слякоти жалко смотрела на свет пустая трубочка подсолнухова стана, и в этой раздавленной в грязи трубочке увидала она себя вчерашнюю.

Судьба забрала у неё в двадцать первую весну мужа, забрала и молодые, и зрелые уже годы, забрала здоровье, красоту, силу – забрала всё, что только можно взять у человека за три четверти века.

Переломила себя старуха, подняла смятую трубочку.

«Вот с кем была я на одном полозу...»

С тихой виноватостью подбирала она и сносила в сухость к сараю под застреху сырые, отяжелелые будылья, в бережи землёй засыпала голыми руками блюдца воды.

Эти остекленелые блюдца казались старухе незакрытыми глазами покойника.

Звон про возвращение Торбихи раскатился по селу, как и полагается, до её появления.

Попорченный с лица оспою знакомый дедок – Торбиха звала его рябой тёркой – подвёз её за рублевик с поезда до автобусной станции. Однако вжиматься в бильчанский автобус уже с тыкеткой, с билетом, в кулаке раздумала.

Вещей не мала гора.

Оно, конечно, люди сейчас добрые, в услужение всяк норовит войти, всяк готов подсобить.

«Кому, – думала Торбиха, – лень вскочить с моим узелком? Да вот как бы по забывчивости не стали услужники с моими узелочками и выскакивать... Враг их знает...»

Народу набивалось, как мурашей на оброненную арбузную запятую. Самой за всем своим хозяйством в такой теснотине не усмотреть, и тогда Торбиха, с выгодой в свою сторону отдав билет у отходившего автобуса, наказала через знакомцев, чтоб на всех ветрах летел за ней Василько.

Одной в автобусе куда спокойней.

Василь смял огрызок папиросы о спичечный коробок.

Затормозил.

– Ты ж тут поглядывай, – Торбиха показала на узелково-чемоданное всхолмье, что размахнулось по всему проходу. – А я на секундочку... Отнесу бабе новостёху.

Скупое, с осторожностью, притворила за собой автобусную дверь, дёрнула к себе – твёрдо, крепостно закрыла! – и валко заколыхалась к Голованихе.

Трудно пропихнулась в узь калитки. Увидала за голыми, как пальцы, деревьями старуху. Шумнула:

– Бабо!

На чужой голос припали к окнам лица и в Ивановом, и в Петровом домах. Поставила Торбиха всех на уши. Ну-ка, ну-ка, с чем это ломит Торбиха, разряженная, как кукушка?

Всё в крайнем любопытстве встречало, провожало Торбиху в глушь двора.

Только милолицая Маричка одна постреливала в обратную сторону. К улице.

Лишь конец автобуса ей видать; не отлепляя лица от стекла, она в беспокойстве то вытянется с цыпочек в нитку, то сожмётся, выискивая нетерпеливыми глазами Василька.

– Да не вертись ты шилом! – ворчит на племянницу Петро, что скалой навис над ней во всё окно.

Маричка выжидательно притихает, словно мышь на крупах. Потом тихомолком клонится-таки к краю окна. Да как ни выворачивай глаза, дальше автобуса хвоста ничегошеньки не видать.

Непонятной тревогой занялось, захлестнулось сердечушко, зашуршали по стеклине ресницы, смаргивая обиду.

«Сда-ай капелюшку... Покажись, святой чё-о-ртушка тебя бей!» – молила про себя Маричка, и её щека улыбчивым розовым кружком разлилась по стеклу.

Вроде доплескались до Василькова сердца её молитвы, подался он назад.

Вот уже на видах. Лыбится шире Масленицы.

Зацвела Маричка.

Тихонько приставила палец себе к груди, летуче глянула в спину Торбихе, наставила на неё, будто целилась, палец, потом на Василя. Мол, к кому идти? К ней? К тебе?

Василько распахнул руки. Что за вопросы!

Забухал в грудь пудовыми оковалками. Конечно же, ко мне! Ко мне!

Свежее просторное лицо радостно-отчаянно разошлось в сочной легкокрылой улыбке.

Лечу, Василько! Лечу!

Маричка тишком отлепилась от стекла, так же тихонько стала разгибаться, боясь потревожить дядю. Обернулась – прыснула в кулак.

Чего ж осторожничать? В доме ни души!

Даже не заметила, как и дядя, и отец, и мать убрели за Торбихой.

Стрелой прошила Маричка к автобусу.

Встречно приоткрылась дверца, приняла её и тут же шалый поцелуй опалил ей душу.

– Бабо Аня! – загремела Торбиха, краем глаза победно наблюдая, как и из того, и из того дома к ней ручейками тёк народ. – Что ж ты там возюкаешься в земле? Иди-но послухай, шо тебе сама Торбиха скаже! Бачила ж я твого пар-р-разита!

Старуха плетьюми сронила руки, качнулась и вряд ли удержалась бы на ногах, не окажись на ту минуту подле сарая; к стене и припала плечом.

Иван и Петро – каждый уже поспешал впереди своего семейства, что вытянулись в две цепочки, цепочки уже смыкались в клин, – кинулись к матери, поддержали; услужливая из невесток метнулась в сарай, выкатилась в тот же миг с садовой лавкой.

4

*Не тем капля камень долбит, что сильна,
а тем, что часто падает.
Когда не режут, кровь не течёт.*

Усадили мать.

Молча стали по бокам сыны. Стали надёжно, придерживая её за плечи.

Старуха отрешённо смотрела то на Ивана, то на Петра.

Выдохнула в каком-то светлом удивленье:

– Иванко... Петрик... Вы слышали?... Божечко мой... Нянько наш уявился. Нянько...

Ей-ё... Не падае бабья слеза на камень...

С минуту она стеклянно смотрела перед собой, и Бог весть что варилось в её душе.

Блаженная улыбка стекла с лица.

Просеклась на нём тревога.

– Живого! Совсем живого бачила?! – заторопила старуха слова, безотрывно глядя на Торбиху и ожидая от той только подтвердительного ответа. – Можь, ты всё то понавьдумала?

Обиделась Торбиха, что не верят ей. Ничего не стала отвечать. Только стыло подобрала губы.

– Что же ты? – Глаза у старухи округлились. Воистину у страха глаза по яблоку. – Что же ты – грому на тебя нету! – молчишь? Иль поиграть доспелось?

Вскинулась на ноги, твёрдо, с силой притянула к себе Торбиху за лацканы новёхонького бежевого плаща:

– Ну скажи-и...

Нервно заплакала старуха, опустив голову Торбихе на плечо и неловко охватив её за шею.

– Говорю... Блище Вас бачила, – с каменным равнодушием ответила Торбиха. – Что ж его пустое свистеть? Какой мне с того привар?

Старуха виновато отступилась.

Оправив на себе плащ, Торбиха, разодетая не по погоде толще некуда – как вор на ярмарке, – просквозила по блёсткам пуговиц, широченно размахнула полы. Жарко!

Все увидели яркую не нашу этикетку на шёлковой нитке. Однако никто и бровь не подломил, не подхвалил обнову.

«Лучше б я мимо пролетела, – в досаде подумала ненастливая Торбиха, торопливо, с вызовом застёгиваясь. – Вот так за всё добрэ благодарять... Щэ бока начистять...»

– Ты уж, Лиза, извини, что всё наперекрёс выскочило. – Выкричала, вылила старуха голос, теперь говорила уже мягче, уступчивей, однако с недоверием. – Вот колоколишь ты... Бачила...

– Ближче, чем Вас! – с холодной готовностью подвторыла Торбиха.

– А, извини, не бреше твоя верхняя губа?

– И нижняя правдоньку торочит! Чего б заздря греметь крышкой?

– Опиши тогда.

– Чего ж проще. Какой родился, такой и есть. Сверху не закрасишь. Обличьем... – Торбиха внимательно посмотрела на Ивана, – обличьем схожий вот на Иванкову сторону.

– Про лицо я тебе сама пела на проводинах. Ты могла и не выронить это из памяти... Ты лучше скажи, что у него такое особенное на теле?

Торбиха всплеснула руками.

– Куча смеха и тилько, бабо! Да что ж я с им в одной кровати просыпалась? Не тот он мужик, чтобы позвало на что с ним такеичкое... Из себя дробнесенький... Мелочёвка... В меру не вошёл. По силам цыплак цыплаком. Что цыплак – слабше весенней мухи, слабше тени! У него смерть стоит за ухом дожидается...

– Пстой! Пстой, девка! – защитно вскинула старуха руку. – Лучше сознайся, что не видела. А так чего ж человека худославить?.. А особенное его на видах. Не обязательно одёжку спускать.

Хмыкнула в задумчивости Торбиха.

– А ведь, кажись... На одном ухе, на самом кончике мочки – с горошину родинка. Навроде серёжки?

– Вот! – старуха кинулась к Торбихе. – Видала! Лизушка! Родимушка! – Обнимая и целуя Торбиху, старуха горячечно запричитала, зажаловалась ей про то, что и на другом ухе была у Иванка такая же серёжка живая. Да не угодил раз Иван пану. Пан до таких степней крутил ухо женатому мужику – оторвал серёжку. – Ня-я-анько!.. Живо-ой!

И Иван, и Петро, стоявшие, как на похоронах, не могли взять в толк эту весть.

Жизни их клонились к вечеру. Были они по годам уже давно дедами. Иван вон обсыпан внуками. И вдруг тебе на сыскался у них папычка!

Нелепым, кощунственным представилось им навеличивать этим детски-чистым, высоким словом кого-то, именно кого-то стороннего, чужого.

Что соседа слева, что соседа справа, что любого прохожего, что того заокеанца звать отцом было одинаково непонятным, недостижимым – ни Иван, ни тем более Петро вовсе не знали его в лицо, не видали даже с карточки и ничего сыновьего, ничего благодарного не поднялось в их душах к тому далёкому ветхому старчику, невесть как вывороченному Торбихой из людской суетной преисподней.

Казалось, Иван не слышал матери. Отсутствующе, каменно смотрел перед собой и не мог приставить ума, не мог понять, что ж тут такое деется.

Присевший на лавку Петро, мягче норовом, покладистой, упёрся массивным вислым подбородком в сцепленные пальцы рук, что стояли локтями на коленях, тяжело ворочал жернова мыслей, и были его мысли про то, что всё в этом свете возвращается на круги своя. Поехала Торбиха – воротилась. Заваялся, затерялся полвека назад батенько – обозначился...

– Нянько... нянько... – больным шёпотом звала в слезах старуха, ладясь зарыться лицом у Торбихи на груди.

– Бабо! Ну на шо тако убиваться? Я ж Вам всё одно не достану его из пазухи, – набряклым голосом басовито прогудела Торбиха и, трубно охнув, повалилась старухе на плечо.

Саданул Петро кулачиной в ребром выставленную аршинную ладонищу, поднялся глыба глыбой!

– Перфект⁵! Весёленький перфект! Без сливовицы не разберёшь, – и, полуобняв плачущих, пробасил: – Айдайте к столу, айдайте. Айдатеньки!

Торбиха, патлатая, расхристанная, будто очнувшись, разом перестала блажно выть, кинулась подправлять волосы под нарядную газовую косынку не нашей работы.

– Вот дура с придурью! – честила себя. – Во-от уж где пересоленная дурайка! Вы-то, бабо, по делу кричите. А я с чего за компанию увязалась?

– Давайте, давайте в дом, – легонько поталкивая женщин, не отступался Петро. – Примете горячий градус, там всё сразу и прояснится.

– За приглашение к хлебу, Петруня, спасибо, – в ласке улыбнулась Торбиха. – Да не в час... Некогда...

⁵ От *perfektne* (чешское) – отлично.

И к старухе:

– Я, бабо Аня, главно не сповестила... Вы... Жалко Вас...

Вы всю жизнь его выглядали. Кричите об ём как! А он там – парази-и-итствует!

Отшатнулась старуха.

– Лизушка! Что ты!? Что ты!? Не лови греха на душу. Вода всё сполощет. Злого слова – никогда!

– Не брешу, бабо.

И Торбиха – о, у Торбихи из рук не выпадет! – чувствуя, что каждое её слово в цене за золото идёт, пустилась со всей обстоятельностью, в деталях расписывать, как её встретили ладом да шиком, как закатили в её честь роскошную вечёрку, как стали сходиться гости и как тут-то Торбиха и вспомни про фотографию, вспомни и спроси и хозяев, и первых гостей, а не слышал ли кто про деда Голованя. Ну пропал же такой человеке без вестей!

– Это когда ж и успели запихнуть его в пропащой? – говорят ей и кажут в окно на пару, что приближалась. Мелконький старичок не то вёл, не то сам для надёжности держался – и это было всего вероятней – за середину опущенной руки ещё крепкой женщины под годами. – Наш Иванко ещё хват на все заставки. Собственной персоной! С собственной мадамкой Любицей! Бачь, саукался пар-разитяра!

– От живой жены женился? – темнея, удушенно прошептала старуха. – Что ты, Елизавета?! Из-под измороси да под ливень... Не бей язык попусту. Не верю! – обрубилась с твёрдой решимостью.

– А думаете, – вкрадчиво стелется Торбихин голос, – я сразу поверила? Подождала... Входят... Разглядела я дедка. Не об чём, бабо, скажу я, тужить. Коржавенький бухенвальдский крепыш... Согнулся, как гриб при дороге. Ветхонький... А завидел меня, кто и прыти дал, бежака ко мне – ему про меня уже сорочили, – руки трясушие даёт:

«Дочурчинка... моя... Лизаветушка... Что ты принесла мне с родного краю?»

«Поклон от бабы Ани. От хлопцев».

Он так и отдёрнулся от меня... Будто громом его по уху огрело:

«Ка-ак?!.. Они ж-ж-живы?!»

«А чего б это им и не быть живу? Вы вон, извинить, при новой хозяйке казакуете! А Ваша баба Аня дотеперь щэ удруге не отдалась...⁶ Дотеперь всё верит-надеется на встречу... Полвека ждёт! О! Подвиг русской любви!»

Даю я ему карточку.

Глянул плюгавик – как стоял, привалился к дверному косяку, росу пустил... Стоит... Слезой слезу погоняет... И раз по разу: прости, прости... Что я, батюшка? Да и – что прости?

«Ах, Лиза, горевая ты Лиза... Кабы ты знала, кабы только ведала, кто навсправде твой батько. И до точности знай то я сама... – думала в бессилии старуха. – Одно время жила помеж людей побрехенька: той старичинка навроде твой батько. А там кто его зна?

⁶ Дотеперь удруге не отдалась – до настоящего времени не вышла вторично замуж.

5

*Беду пусти во двор, а со двора уже не выгонишь.
Блоха кусает, а за что — не знает.
Рыба никогда не забудет плавать.*

Закаменело всё в старухе. Как же так, не понимала она, ведь не проводила она, при-
давленная бедой, и дня, чтоб не вспомнила своего Иванка, всё убивалась, как он там да где.
Всё выглядела, всё ждала. А он на тебе! Расспокойненько живёт-милуется с другой. Детей,
гляди, нарастил...

Мысль о детях с чужой напугала, смяла старуху.

До чего потерянная... Даже не спросила у Лизы про детей. Не спросила, и какая она
из себя, мадама его. Интересная, наверно, раз кинулся от живой жены. Чем интересная? Что
такое особенное подмешал в неё Господь?

Совсем без пути стала.

Как же не выспросить было сразу про всё про это?

Ругая свою неповоротливость, своё неумение вызнать всё потребное в подпавший
момент, наладилась старуха к Лизе разведать всё до полной ясности.

Лизы дома не оказалось.

На стук выползла к калитке босая, простоволосая бабка Клавдя. Невысокая, высушен-
ная долгими годами и недужью, была она совсем плохая. От неё дохнуло старостью.

Свисая впалой грудью с палки и круто заломив шею, Клавдя бельмасто всматривалась
в Анну и не узнавала.

— Святая душа на костылях, чего ломаешься? — Гостье показалось, что её разыгры-
вают. — Скоро ты перестала признавать. Ско-оро...

— Голос, Аня, твой, — печально гундосила Клавдя. — А лицо... Лица я не разберу.
Как туманом кто завесил... Я, Аня, какая тепере зрительша? Этот, — поднесла пучок дрожа-
щих пальцев к пустой глазнице, прохлёстнутой ресничной строчкой, — ещё в позату зиму
крысоловка выстегнула. А этот, пёс, лодыря корчит, не хочет путяще смотреть. Недовольна
я им... Вроде как корка на этот глаз кинулась. Смотрит он у меня унотрь...

Тяжёлая ноша старость...

Встречались Анна с Клавдей в последний раз без малого лет двадцать назад.
Не меньше. То жили в соседях, не каждую ли минуту друг у дружки на видах. А как Голо-
вани расстроились на новом месте, как раскатились дворами, так с той поры и не сводила
бабок старость.

— Клава, — просветлённо выдохнула Анна, — тебе Лизка не хвалилась про Иванову
жинку-канадочку? Я всё думаю, чем это она его привязала? Иль попалась какая милолица,
красивше?..

— Э-э-э, красивше! Не было красивше тебя в Белках — и за морем не под печкой горох
сеют, — не будет и там. Не вижу я, какая ты зараз. Зато расхороше бачу тэбэ тогдашню, молодую.
Как ни подумаю, бачу только молодую. Кругом шашнадцать! Цвето-ок... Года плывут, як
вода. Мы с тобой одних лет, на одинаковой колхозной работёшке руки рвали. А на! Ты ещё
геройша на ходьбу! А я даль калитки уже и боюсь дорожку мять. Пло-о-о-тно хвороба за меня
взялась. Гниль я вся унутрях...

Жалобилась Клавдя обстоятельно.

По её словам, жить ей оставалось недолго и только поэтому Господь свёл её в про-
щальный раз с Анной, и свёл единственно затем, чтоб Анна дала прощение.

– Мочей моих не хватает, – жалилась Клавдя. – Лежи гляди в окно на кладбище... День за днём и всё ближе к смерти... А всё никак... Богово дело какое? Просит человек, так прими... Ка-ак я просила Верховного прибрать – не примае. Лишняя я у него. И всё не потому ль, что вина на мне перед тобой большая?..

Анна слушала с укором и не перебивала чисто из бабьего любопытства, мол, какой же ещё там можно наварить чепухи на постном масле. Не выдержала да и сплесни:

– Наплела! На пяти возах не вывезешь.

– Больша-ая... Молода, Аня, была, глупа была, как сто пудов дыма... Врачову ошибку земля спрячет, да не мою... Минуту не удержала себя – полный век казни! За что-о ж меня так больно Вышний бьёт?

Водились они смалу и до той самой молодой поры...

Года с три распускал Иван перья перед неприступной Клавдюшкой. А там, приглядевшись, и катни коляски к подружке. К Аннушке. Да так всё у них горячо покатилося, что через неделю какую и заслал сватов.

Проплакала да спрятала до часу своё горе Клавдя.

В вековушах не осталась и она.

Родили по двое.

В один день, в одной артели ушли их мужики на заработки.

Вскоре нашлась Лиза.

Анна аккуратно получала от своего и письма, и деньги. Клавдя же – ничего. И тогда...

– Аня, дай руку, я скажу, что я тогда такое отломала.

Несмелой ощупкой отыскивала Клавдя протянутую руку, припала к ней щекой и – выронила.

– Не могу, – прошептала отуманенно, – не могу... А с той поры я только ж и звала этот случай...

Потерянные, стояли они друг против дружки, и каждая думала своё.

Первой не вынесла долгого молчания Клавдия.

– А! – надсадно махнула разом обеими руками, будто оттолкнула от себя что тяжёлое, невидимое, не дававшее ей ходу; примирительно-судорожная улыбка просеклась на усталом, поникшем лице. – Ева вон в раю царевала да и та согрешила. А про нас, про тоскливых вилюшек, какие уж там и перетолки?

– Ты, Клава, – с холодной рассудочностью возразила Анна, – на всех одну бирку не цепляй. Это в чём же мой, скажем, грех? Как бомага, чиста я и пред Богом, и пред детьми, и пред мужем.

– А перед собой? – с ядом в голосе крикливо выворотила Клавдя. И спокойно, твёрдо – как приговор: – А перед собой ты грешна. Ну усуди, свой ум – царь в голове... Какая живая душа не просит радости? Какая молодая душа не просит утехи? А была ты цвето-о-ок... Всем наравила...

– Что ж мне теперь, быть всемужней веселилкой?

– Всех не всех... Ну, пошёл Иван... Да и ветер ему в спину. Гони дальше! Что тепере с твоей чистоты – мёду опиться? Два лета отжили, а тама не твой. Усе пять десяточек на стороне. К какой к другой прибрехался, пригрелся и выпала ты из ума. Мужики все кобелюки! Как к какой повернулся, к той уже и виснет на шею, как чёрт на вербу... Я, Михална, перед Богом грешна, перед детьми грешна, перед тем своим кобелём заморским – справедлива! Я знала, раз завеялся с глаз – не вернётся. Он, можь, ещё на пароход не взошёл, а мне писарчук жуковину⁷ на мизинец уже надевал... И угощал не чаем неженатым⁸... – Клавдя просыпала мелкий счастливый смешок. – Как утка на воде нагулялась!

⁷ Жуковина – перстень.

– Не того ль, скоропослушница, твой тебе ни строчки, ни детишкам даже на дырку от бублика не пригнал?

– Можь, и оттого. Да зато никто у нас не в обиде. Он там наискал, я туточки. Ездила Лиза, проведала. А мне и на дух его не надь. Как увспомню... На меня ж смотрел, Анечко, яко на собаку!

– В чём это проявлялось?

– В чём, в чём... Внагльк требовал собачьей верности! На что раскатал губищи!? А сам... Как-тось чую скрозь сон его стон: «Наденька!.. Наденька!..» Я хлоп его кулачиной по плечу: «А ну рапортуй, кривой стручок, что это за Наденьку ты захороводил?!» Он луп-луп глазенятами по сторонам и подаёт такущую оправданку: «Видишь же... Одеяло с меня скатилось, я и команду тебе: «Надень-ка! Надень-ка!». Выкрутился супостатий! Ладно... Ну... Всё одно, с ним я б и тут не ужила. А раз так... Каковски у нас всё повернулось – к лучшему... Я другим эсколе скоромилка была... Что он, что те – без разницы. У всякого то и богатёшки, что по свистульке худой... Это ж жениховцев ежеле до единого собери – в хату не впоместятся! Е-е-есть кой-кому что вспомнать, когда понесут на рушниках в тое село. – Клавдя качнулась в сторону близкого кладбища, заметного головами старых крестов. – В том селе худо-нахудо: петухи не поют, люди не встают... И под тебя в том селе выроют земляночку... Только ты-то, подружа, что вспомнишь? Проплыли твои лета напрасно, как листья по воде. Ох... Ох да и какие мужики подкручивали усы, глядячи тебе в спину?! – Клавдю снова завалило в старую набитую колею. – Иль ты до дна мёртвая была? Иль тебя не ш-шако-тало? Всё фырк! Фырк! Ни одного не подпустила на радостную близь. Дурё-ё-ёка... Привереда ещё та... А привередливой бабе и в раю плохо, и в аду холодно... Ну не с полна ж ума такими парубками плетни городила! И вот тепере ты искажи, не грех ли это великий перед самой собой? Изжить жизнь в узде, как коняга?! А никто сторонний узду не набрасывал тебе на душу, на желания. Всё сама, как есть сама. А подради чего? Чтобушко бабайки на возрасте, у коих нетушки мочей уже самим грешить, подхвалили: ах, какая верная мужняя жинка! Ну, похвалили бабки. А он тебя похвалил? Ты ему верность тащила – он про тебя и думать забыл, как только выкатился из Белок за первый поворот. А можь, думаешь, Боженька про тебя воспомнит, сдарит ещё одну жизнь? Божечко, Михална, не дурак. У Божечки всё на строгом контроле. Двух жизней ещё никому не подал...

Клавдя долго всласть тренькала языком, радуясь счастливому случаю, что при живом человеке никто не осаживает. Совсем не то, что при Лизке. При той как чуть разбежишься, выбурит мигалки. Тут и приказ летит молчать. А то молоти да молоти, полная тебе волюшка!

И бабка мела без умолку.

Да навалилась беда. Выронила вожжи, забыла, куда ехала. А забыв, конфузливо сама собой замолчала, как-то беззащитно косясь на все стороны невидящим, подёрнутым коркой, глазом.

– Ну ты чтой-то замолчала? Приехала? – гневливо рубнула Анна.

– Я, Аня... Совсема выпало из ума... Совсема забыла, что зуделось сказать...

– Ты всё пела, что винна передо мной. Так ив чём твоя вина?

– Того я, Аня, не искажу...

Упорство, с каким Клавдя наотмашь отказывалась называть свою вину, вынесло Анну из равновесия, как сильная внешняя вода воробьиное перо.

Тяжело плюнула она Клавде под ноги да и со двора.

⁸ Чай неженатый – чай без хлеба.

6

*Верховино, Верховино, рідна моя мати,
Чому твої дгти мусять по світку блукати?
Старинная коломыйка⁹:
Молотил весь век, а веять нечего.
Что написано пером, то не вытянешь волом.*

Дорогой Анна перебирала, тасовала свою жизнь и так и эдако, всё выискивала, где ж это Клавдя подпустила ей вони. Но, как ни перетряхивала прошлое, ничего худого не высказывало против Клавди.

За что же тогда она просила прощения? В ту и в ту сторону по живой трассе пролетали машины, клоня к долу привялые пыльные травы по обочинам.

Старуха не замечала ни машин, ни встречного люду.

Она б и Петра не заметила, не возьми тот её за руку.

Рассеянно посмотрела она на Петра, вовсе не обратила внимания ни на то, что встрел он её на полпути от дома (никогда такого не было, чтоб так далеко встречал её сын, откуда и с чем ни возвращаясь она, встречал самое лучшее уже у самой у калитки), не заметила ни того, что сиял он, как дитя.

Ничего не видела, ничего не слышала старуха кроме беды, которую она ясно не знала по имени, но которая – была, давно ли, недавно ли, но была, и сотворила её слепая Клавдя.

Что за беда могла быть? И беда ли, раз не заметила сама?

В тревоге мать передала Петру разговор с Клавдей.

Спросила:

– Ты-то что на всё на это скажешь?

– А ничего! – весело хохотнул Петро. – Клавдя да бес – один в них вес. Нашкодила где по мелочёвке, теперь вертится, как посоленная... Забудьте, мамо, про ту Клавдю. У нас новость покруче. Меня с Иваном нянько в гости вызывают! Визы на месяц пригнали. И письмо.

Петро поднёс матери к глазам исписанный лист со следами тщательных сгибов. Хрустко встряхнул.

– О Господи! – отдёргнулась старуха от белого листа. – Как ни летело, да ударилось... А ну читай! – и в нетерпении легонько подтолкнула Петра в локоть. – Читай же!

«Дорогие мои, – читал Петро, – я без меры в счастье, что узнал про Вас правду. Вы здоровы, живёте добре.

Я радый, что у Вас, сынки, свои дома каменные. Радый, что вместе с Вами живёт наша мамка. Уважайте, угождайте мамке, бо она с Вами мучилась, доводила Вас до дела. Берегите, почитайте мамку».

Трудно Петру разбирать отцову руку.

Запнулся.

Мать не поталкивала в локоть. Не торопила.

«Берегите, почитайте мамку... – с несмелой сторонней радостью повторила про себя. – Ишь, по-омнит...».

⁹ Коломыйка – особый род песенок, получивший своё название от городка Коломыи, где они наиболее распространены.

«Тяжко мне вспоминать...

Когда мы поженились, у нас над головой не было путящей крыши. Жались в соломенке тесной, негде повернуться. Потому я и покинул Вас, уцелился в хвалёную сторону разжиться деньгами, прикупить землицы, вывести на бережку Боржавы хату окнами к солнцу да зажить по-людски.

Но не так стало, как гадалось.

На голого, сынки, скрость капает...

Хатку я купил без мала через двадцать лет, в сорок шестом, и то не дома. А на другом конце чужого света. Купил под долги. Полных двадцать лет отдавал.

А хатка сама с кулачок, деревяненькая. Зато каких капиталов стоила. Шестидесят тысяч долларов!

Сынки, хотел я это не писать, да куда ж денешься? Куда ж его не писать?.. Я не парубец. Отяжелели года мои большие. Хвораю, давно уже хвораю. Притерпелся к болячкам, притёрся. Собака всю жизнь привыкала к палке, зохла, а не привыкла. А я привык. Палка та же хворь, знай колотит изо дня в день. Такое дело моё стариковское, хвораю да живу. Я хвораю да живу, разом всё у меня катится. И на том спасибо. Ведь до тех пор хорошо, покудушки болит, а как перестанет, уже и нас не станет.

А заверни с другого боку, смерть знай не идёт – скачет уже ко мне на вороных. Приезжайте, закроете несчастному глаза, божеское дело сделаете. А может... А может, ещё обгоните её, отпихнёте, продлите мне век на денёк какой ясный...».

Какое-то время мать и сын шли молча.

«Берегите, почитайте мамку... – колокольчиками звенели далекие слова в материнском сердце. – Не забыл... А будь я, как Клавдюха, разве б помнил?»

И поворачивалось тихонько всё у старухи к тому, что и сплыли какие большие годы, и смыло какие в мире беды, а не забыл её вовсе Иванко. Сыздали, с чужого боку земли, вспомянул добром.

Вскипела душа, налилась маятная жалостью.

«Иване, я не сержусь на тебя. Я сержусь на одну свою судьбу... Дошло б это слово до твоего уха...»

Минутой потом, слушая письмо дальше, смятенно вздыхала...

Сам Бог ведает где, а ещё и детей к себе манит, манит жалобно, сиротливо, как кулик в болото. Зазовёт да и оставит. Что тогда?

Ох, без ран болит сердце.

– Петрик... – мать накрыла письмо широкой твёрдой ладонью, закалянело смолкла.

В притишенных глазах качнулась тревога.

«Не пускать бы мне вас к нему... А ну как... Заагитирует да оставит при себе?»

Угадал Петро материнские мысли.

– Мамко! – раскинул Петро сильные руки. – Плохо ж Вы знаете своих хлопцев. Ну разве тот же я похож, чтоб на какую там красивую трепотню клюнул? Лично у меня нигде не пропадёт. Да только запой он что непотребное, ей-бо, вот этими ручищами запишаю в авоську и в полной невредимости доставлю Вам на расправу!

– Вот этого-то, хлопче, как раз и не вытворяй. Силу свою, молодость потерял идол его знай где... Выпал из годных... Выстарился... Не работник уже...

– У меня б работал. Из миски ложкой.

– Не в лад поёшь, не в лад... А можь, ты оплановал уже всё? Замыслил везти его сюда? – Подумала. В надломе уступила: – А кобель с ним, вези. Только мне он не нужен. От живой жены женился... И ни звука даже, кто она такая.

– Словачка. Взял уже с пацанкой... Я тут, – потряхнул письмом, – всё уже наизусть знаю... Ребятня у них не завязалось. Про всё про это он и пишет дале. До мелочей всё про себя выва-

ливает как на духу... Ответно просит: пока будете оформлять поездку ко мне, в подробностях опишите свою жизнь... Гляньте, какие они будут из себя.

Из хинной желтизны конверта Петро вытряхнул цветную карточку. Подал.

– Бож-ж-ж-жечко ж мо-ой... – надсаженно простонала старуха. Нервно сглатывая, впи-лась глазами в коржавого старичка с ядристо порубленным морщинами лицом, виновато и задавленно выглядывавшего из-под массивного козырька парусиновой кепки, что грузно давил на самые на брови. Старичок силился улыбнуться. Погибельное подобие улыбки он выдавил-таки из себя, а на большее его не стало. – Иваночко!.. Невжель это и всё, что оставила от тебя распроклятая чужина?!

Старуха вопрошающе подняла потерянный взгляд на тугощёкого Петра, как бы сравнивая великанистого сына с гномиком на карточке. Тяжело замотала головой:

– Не-е... Не наш тут нянько... Какой-то...горе... носец...

И женщина рядом была под стать такая же мелконькая, доход доходяга, с тяжело выт-ращенными глазами, словно что невозможно большевесое, невидимое было у неё на голове.

Старики держались друг за друга.

Иначе, казалось, они б не устояли.

– Бедные, бедные... – обмякло шатала головой старуха. – Какая ж повенчала вас беда?

7

*Человек по свету, как пчела по цветам.
Несподручно бабе с медведем бороться:
того гляди юбка раздерётся.*

Верховину май обряжал, в гости июнь-друга звал. Белыми копнами кучились у домов вишни, яблони.

Самую силу цвета набирали и сады московские.

До самолёта ещё прорва пустого времени, и Иван с Петром прямо с Красной площади да по старой памяти качнулись на Выставку.

Выставкой братьям уже трижды кланялись: трактористы они первой руки, хлеба растят богатые, и в те встречи так полюбилось им на Выставке, что теперь, оказавшись в столице мимоездом, не удержали себя не пойти на Выставку. Ноги сами понесли.

Ходили из павильона в павильон...

Бродили по аллеям в цвету...

Дорога утомила шаг.

Однако жаль было покидать и сады белые, и солнце ясное...

А в закуренном туманом Лондоне братья уже не увидали по сути солнца, хоть и одно оно на всех.

Туман не туман, смог не смог, только завесило, задёрнуло небо какой-то мутной, зловеще-серой пеленой и сквозь неё не видать солнца в той ясности, что в Москве, что в Белках.

Вечерело.

За крышу уходило солнце.

Оплывший ржавый пятак света, будто напоровшись на шпиль, вытек, из пепельно-жёлтого превратился в льдисто-алый, распух и вот такой, словно краснея за дневные дела людей, обиженно, смуро сплывал в темницу ночи.

Хитёр и громаден лондонский аэропорт Хитроу.

А дальше?

Где посадка? Когда? На какой?

Народу пушкой не свалить.

Спросить же без языка не спросишь.

На правах старшего Иван командирничает:

– Все идут, мы за ними.

Пристегнулись к одной толпе – вынесла к посадке в Австралию.

Пристегнулись к другой – притаранила, притёрла к посадке не понять куда.

– Не-е, чёрт-мать, – бормочет распаренный Иван, хмелея от усталости. – Не дело налётом лететь, куда толпа несёт. Надо драться навспроть.

– Полезли навстречу, – соглашается Петро. – Мне без разницы. Что вперёд, что назад – абы вперёд!

Петру-то что!

Петро в толпе столб.

Поглядывает сверху, посмеивается, как там в низах кипит-бубнит человечество.

Ивана же толпа мнёт, кидает на поручни, тащит, крутит и не найти ему правеха в этой коловерти.

Видит Петро, вовсе лихо Ивану. Вскинул над ним трембиту, ка-ак гуданёт! Народище так и отсыпался, мёртво отпал от Ивана.

Вольнодохнул Иван.

– С теперь ты у меня на контроле, – мягко забасил Петро, не снимая с брата безотрывного взгляда, и как только примечал, что того сжимала, заливала толпа, тотчас пускал над ней из иерихонской дуды своей грома – и сражённо валились в стороны чужестранники.

От пустой беготни упрели Иван с Петром, ноги по щиколотку утоптали.

Посбили скорость. Присматриваются...

Эгэ-э!.. Да вокруг них табунится одна и та же кучка ветродуев!

«Может быть, легла им к душе трембита? А почему и нет? Только...»

Боковым зрением Петро видел, как по короткому кивку одного из них наживлялись они давить на бедолагу Ивана, вприщурку вопросительно косясь на Петра: что же ты молчишь?

Похоже было, чтоб слышать трембиту, кучка, вызвав Петровы замашки, через минуту да во всякую минуту накатывалась на Ивана, и Петро, неосознанно чувствуя преднамеренность этой давки, с набавляющимся раз от разу озлоблением разгонял диким дуденьем толпу, и та, с радостным изумлением на время отступаясь, – понравилось лбом орехи щёлкать! – что-то веселое по-свойски лопотала.

– Как думаешь, – спросил Ивана Петро, – что они такое про нас чешут?

– А что-нибудь на «границе двух тенденций»: або эти, то есть мы с тобой, хлопцы с Верховины, або не из Лондона.

– Им же и хуже! Айда, братишок, в вокзал. С устали хоть глянем на ихний расхваленный под корень сервисок. Сядем культурненько где в уголочке. Вам надо, сами и ищите, ищите да ведите нас под белы ручки к торонтскому чертову трапу.

Плюхнулись. Сидят отпыхиваются.

Ан тебе на!

Вжимается в свет открытой двери и всё ветродуйское стадо.

Будто споткнулось о взгляды Голованей, сгрудилось у двери на самом ходу, смотрит казанской сиротой.

Отлепился один от табунка. С затравленно-заискивающей улыбочкой подтирается ближе. Несмело тычет в Петра.

Петро готов с вопросом:

– Мистер-твистер! Что имеешь мне сказать?

– Рус... Мишья-а!.. – «Мистер» ревнул на медвежий лад.

– Понято, сэр! Русский Миша. А потом?

Обрадовался «мистер», что его поняли, летуче дёрнул Петра за рукав. Мол, внимай и обвёл в воздухе мертвенно-бледным пальцем кружок, пнул указательным пальцем в маковку кружка:

– Норд...

Петро догадался. Северный полюс!

Долбит прилипала в точку, где у него этот самый полюс:

– Рус Мишья!.. Рус Мишья!..

Жестами выпросил трехметровую трембиту и, приставив к глазам как подзорную трубу, ошалело, с рыком повёл ею из стороны в сторону: эдако вот русский медведь с вершины мира высматривает, а куда б это ему напустить свои шаги!

«Мистер» обмер. В трембиту увидел олимпийского Мишку у прохожего! В самом Лондоне!

– Рус Мишья – Лондон!.. Рус Мишья – Лондон!.. – заполошно кидал рукой в спину удалявшегося мужчины с нашим значком.

– И Лондон, и Париж, и Мехико, и Мельбурн – везде, мистер-твистер! Везде наш Миша нагуливает себе почёт. А как же? Два месяца до Олимпиады#80 в Москве. Наш Миша сейчас везде свой. И на севере. И на юге. Да только – су-ве-нир-ный. Понимаешь? – Петро снова повторил по слогам: – Су-ве-нир-ный! А не... – с холодным спокойствием забрал у поникшего «мистера» трембиту и, передразнивая его, прислонил к глазам, зашёлся рыком, поводя по сторонам трембитой. – Пошло что-нибудь на ум? Ты мне не надувай ушки ветром... Разве русский Михайло ломится к чужому? И лучше ответь, чего это ваш старэник Лёва сипит? Пыжится задуть солнечный огонь с Олимпии?

Тут к Ивану с Петром шатнулся пролетающий мимо на последнем дыхании взмыленный служивый.

– Торонто?! – потерянно ткнул поверх голов в Петра. Петро был горошка. Виден отовсюду.

– Нашёл пёс! – с изумлённым восторгом Петро шлёпнул Ивана по колену, подхватываясь. – А что я, брате, говорил? Надо – и в твоём Херроу найдут! – и закивал служивому: – Торонто! Торонто!!

Служивый выкатил глядела. И самому не верилось, что наконец-то отыскал! Однако в следующий миг он уже тряс руками, требуя поживей подыматься, вещи в охапку да бегом:

– Эй-эй! – нахлёстывал. – Скоро! Скоро! Паньмаш, Торонто ужэ р-р-ры-ы-ы! – что означало: двигатели запущены. – Ужэ! – аврально выбросил растопыркой указательный и большой пальцы. – А ми ви иškai! Иškai!

Изобразил, как искали.

Прилепил отвислую жирную ладонь козырьком к бровям, вытаращился. Дёрнулся в одну сторону, в другую...

Краем глаза увидав, что братья стоят ждут его с вещами, короткий, раскормленный – такого легче перепрыгнуть, чем обойти, – катком покатился к выходу.

8

Не смотри высоко, очи запорошишь.

Салон самолёта походил на растравленный улей.

Народ, лощёный, чужой, из-за каких-то там двух мумиков в диковинно расшитых русинских сорочках прел в салоне да при работающих двигателях – подарочек, ей-право, не из рождественских.

Рёв стронувшегося самолёта разом захлопнул все недовольные рты.

Он уже тяжело пилил над океаном, когда к Ивану, сидел первым от прохода, наклонился чопорный стюард.

– Почтенные, – тщательно выговаривал каждый заученный слог, – я скромно считаю, что с вас довольно и одного лондонского концерто грессо. В Торонто, пожалуйста, не выходите из салона без меня. Я куда надо поведу на пересадку.

Обломилась внизу вода.

Встречно рванулись леса, горы, неохватные степи под молодой, тугой щёткой хлебов.

До стога в висках всматривался Петро в эту чужую и в чём-то уже не чужую землю.

Эта земля смертно обидела отца, забрала самое дорогое: молодость, здоровье, семью. В ответ же на этой неудобной земле нянько оставил так много добра.

За кусок тянул под самым Ледовитым морем дорогу; копал руду, валил леса, строил города, газопроводы, растил хлеб, ходил за скотом... Эта земля взяла его всего, взяла до малости, выстарила, и разве может эта отцова земля быть теперь ему, Петру, чужой?

Не терпелось с выси обежать глазами эту землю. Ни на миг он не отлеплялся от окна и жадно, ненасытно ловил в себя всё видимое, да шло всё как назло: самолет то нырял из облака в облако, то надолго и вовсе входил в сплошные облака, то бесконечным зимним полем подстилались облака снизу и тогда, теряя всякое терпение, ёрзал в кресле, будто кто поддевал его на шило, и он всё ловчил соскочить с шила, садил кулачиной-оковалком в ладонищу, торопя медленный самолёт поскорей выпнуться на чистое.

Вскакивал, умоляюще обводил взглядом пассажиров:

«Что же нас везут, как горшки на ярмарку?»

Немного остывал о холодные равнодушные лица. Всем было неважно, как везут, лишь бы везли. И уже в новую минуту, оставшись без капли самообладания, падал до детского выбрыка – будил, поталкивал огруженным плечом Ивана, прикрывшего запрокинутое лицо кепчонкой и добросовестно задававшего храпунца.

– Тебе чего? – лениво пролупил один глаз Иван.

– Земли не видать, – жаловался Петро.

– Смотри лучше.

Петро всерьёзную пялился в овал. Действительно, облака помалу истончались, рвались, в тесные разрывы напроломки таки пласталась земля; однако облака не пропадали-таки вовсе, напротив, разрывы снова стягивало, свинцово забеливало, так что во весь оставшийся путь, покуда при посадке не обозначился внатык Калгари, «коровий город»¹⁰, давший отцу последний приют, окна с воли были тяжело запахнуты серым.

«От тех ли закрываешься, няньков краю? – тихо улыбался окну. – Ох, не от тех... Совсем не от тех...»

¹⁰ В окрестностях Калгари развито животноводство. Отсюда и название «коровий город».

Петру, великовозрастному ребятёнку, кто нажил уже давление и не разучился восторженно смотреть в мир чистыми глазами Ивановой внучки Снежаны, эта поездка была полна ожиданием счастья от встречи с отцом.

Иван, в противоположность, не мог представить ничего несуразней, ничего нелепей этого пустого визита вежливости. Ну к чему, досадовал Иван, тащиться в тот Калгари? Ведь за те полгода, покуда оформлялись визы, из Калгари набежало девять толстых писем.

Десятое ушло из Белок.

Старик уже всё знал о житье-бытье своих сынов, Анны, равно как и они всё знали о нём, что только и можно было вызнать.

На кой, недоумевал Иван, ещё эта свиданка? Он так и не мог понять, какой же бес впихнул его в самолёт? Какого рожна попёрло его аж за океан?

В то короткое время, когда не спал, Иван был далеко, на подмосковной станции, где испытывали его «заразу», как называл он свою сеялку.

Как кормить землюшку сыпкими удобрениями – беда. Хоть матушку репку пой. Оно, конечно, не скажи, что нет на то машин. Машин посверх достатка. А вот проку...

Как-то поспорили Иван с Петром.

Отмерили каждый себе рядком по равному клину. Ну, кто быстрее удобрит?

Петро рассеивал извёстку прямо из бумажного мешка. Легко – сила не меряна! – как кулёк с конфетами сажал полный мешок на сгиб левой руки, правой раскидывал.

Иван разбрасывал, пшикал сеялкой. Сеялка барахлила, то и дело останавливалась.

Скандал!

Иван и окажись в битых.

Разозлился. Совсем задавило мужика зло, брови набухли. Забурчал, что ж это за техника? Кто её варганил? И только за что платят?

Подмануло узнать за что же. Вороха книжек, журналов пробежал. Бумаги одной что извёл на чертежи!

Битый век тайно мараковал.

А дотумкал-таки до своей сеялки.

Из чего Бог подал слепили с Петром в совхозной мастерской. Пустили в дело. Сама загружается, споро рассеивает. В двадцать раз способней той «туковой новинки», что днями получил совхоз. (Раньше в Белках был колхоз.)

Один минус – пылюга хоть ножом режь.

Сладил Иван кабину – стеклянный колпак с трехметровой трубой. Эдак занебесно пыль не взмахнёт, дыши, тракторист, свежаком!

Не грех такую пустить кабину и на комбайн, и на трактор.

Глянулась сеялка Москве. Взяли на Выставку.

Вот забегали на Выставке. Заглянули в свой павильон. Грустно... Пусто... Сеялки там уже нет, на государственных испытаниях, а Вы, Ван Ваныч, – Иван гордовито скосил глаза на светившуюся на груди медаль, – получите малое золотко. Как кстати я нагрязнул. Налаживались переправить медаль в Белки – вот я сам. Честь честью вручили...

«Нехай, – уступчиво думает Иван, – нехай батька полюбуется, каким это золотишком пробавляется его старшой...»

Кость ныла, ка-ак самому мечталось покрутиться на государственных испытаниях, ка-ак зуделось...

Под эти-то испытания Иван и выторгуй у совхозного генералитета месяц воли. А тут на тебе, в досаде ворчит про себя Иван, не к часу вывернулся пропащей батечка. Не к часу...

Можно ж навалиться к батеньке с гостеваньем и потом, в зиму, когда страда снята, когда в поле делать нечего. Ан нет. Вся родня на дыбки. Сеялка из железов! Ежель что, и подождёт! А нянько ждать не может. Сегодня нянько есть, а завтра может и кончиться.

Скачет Иван из облака в облако на сонном самолёте над чужой землёй, все мысли его в одном: как ты там, мўка и свет мой? Как ты там, любушка и бориветер мой? Держишься?

Не турнули ли там ещё в металлолом?

На металлолом не соглашайся.

Просись, миленькая, в серию.

Крепись, роднулечка, за двоих.

Помни, конец дело хвалит.

9

*Что в сердце варится, то на лице не утаится.
Не всё так делается, как в параграфе написано.*

Вышли братья в Калгари из таможни, пустили в разгулку глаза по сторонам – будто волной и того, и того скачнуло назад.

Старики, маленькие, бездольные, стояли, держась за руки, точь-в-точь, как на карточке: те же позы, те же испуганно-повинные выражения на лицах, в тех же блёклых одежонках, дешёвеньких, старомодных; и причудилось братьям, стоят старики здесь с той самой давней поры, как снялись на карточку здесь же, на этом вот месте, снялись да так и остались ждать; все глаза проглядели, устали, потеряли всякую надежду встретить, но не ушли – не могли уже, слабые, разбитые, уйти, оттого и стояли из последнего, поддерживая друг дружку.

Бросились братья к старикам.

Не шелохнулись старики, только потерянно, обречённо вперились в роняющих на бегу вещи братьев и ещё тесней сшатнулись друг к другу, словно собирались в открытом поле выстоять смертный ураган, от которого уже не было сил укрыться.

– Нянько-о! – трубно ревнул великанистый Петро, подгребая и беря отца на руки, как младенца.

В горевых слезах, готовно хлынувших, старик доверчиво припал к просторной сыновей груди. Уж на что кремень Иван, а и тоже не удержал себя, привалился лбом к отцову плечу, затрясся. Не отваживалась подходить к Голованям старушка. Возле подперлась кулачком с белым платочком, смаргивает неосушимые.

«Коровий город» обомлел.

Недостижимая глупость! Плакать и не скрывать слёз – всё равно, что носить свое сердце на рукаве. Брезгливость морщила лица прохожих; осуждение, насмешка коротко вспыхивали в летучих взглядах.

Крестом кинув хворостинки рук на руль «Мустанга» и опираясь одним локтем на дверь со спущенным стеклом, ястребино уставилась на приезжих тощая, как сосулька, увядающая дама, пожалуй, средней поры. И руки, и уши, и шея холодно горели у неё золотом. Красное платье с блёстками тесно охватывало тонкую фигуру.

Через минуту её любопытство перешло в удивление.

Уже сколько она сидит и её не видят!

– Всё! – ласково приказала она себе по-английски. – Чересчур много хорошего никуда не годится. Эти милашки Иваны везде Иваны. Наплывёт – облапятся и будут век лосями реветь. Нечего ходить вокруг куста!

Качнувшись назад, присев, машина с места взяла рывком; казалось, молнией перехлестнула то малое пространство, что было до Голованей, и стала так ловко, что едва не уткнулась передком присадистому Ивану в икры.

Никто из Голованей машину не заметил.

Даже притихлая старушка, в равнодушии покосившись на подлетевшую машину, безразлично отступила от неё, снова подняла лицо на Голованей.

Несколько мгновений женщина в упор, с пристальным изумлением смотрела на старушку, ясно видела, как виноватость старушечьего взора наливалась благодатью.

Женщину за рулём по-прежнему не замечали!

– А-а! – с глухим простоном тыкнула пальцем в кнопку у ветрового стекла. Разом плавно распахнулись все дверки кроме той, что была под локтем.

С расхабаренными наотмашку дверьми походила эта машина на сытого майского жука, что глянцевито, торжественно блестел, но невесть где и при каких обстоятельствах потерял одно клешнятое крыло и теперь как ни старайся не мог больше взлететь.

Женщина ждала. Не помогают и зовуще размётанные двери? Всё равно не видите?

И тогда она, озоровато оглядевшись, упёрлась спичечно острым локотком в оранжевый диск на руле и тут же отняла. При коротком истошном звуке, неожиданно лопнувшем совсем под боком, отпрянул в сторону Иван, дрогнуло у Петра на руках коротенькое твёрдое тельце, угрюмо поднял тяжёлые глаза Петро.

Женщина, выпрямляя, насколько это было позволительно, свою подбористую, змеино-гибкую статью, с невинным выражением на лице занялась туалетом. Беспечно поглядывая в зеркальце над собой, набавила краски губам, поправила, вычернила брови, одни лишь карандашные дужки, голые, со слабым намеком на растительность; приглаживая, повела узкой дощечкой ладони с жёстким кружевом морщин по перекаленным химией синим волосам, обкорнанным коротко, под мальчишку.

В деланную беззаботность улыбки втекло еле уловимое мстительное кокетство. Женщина себе нравилась. Её слегка рекламно-жизнерадостная улыбка твердила: как видите, настоящий коралл в кисти художника не нуждается!

– Иль тебя, Маримонда Павиановна Шимпанзенко, мокрым рядом накрыло?! – громынул Петро, осторожно ставя отца на землю.

Не пуская с лица нарядную улыбку безмятежности, она выставила голову в окошко:

– Извините, я нечаянно нажала...

И тут же учтиво поинтересовалась:

– Извините, а зачем Вы мне всех обезьян перечислили?

– Зачем же всех... Я назвал, автоледа, всего-то одну.

Уловить выражение её лица было невозможно. В первое мгновение она готова была оскорбиться и, кажется, даже оскорбилась, но за первым мгновением шло второе, и в это новое мгновение, явно затеяв уже что-то недоброе, залепетала – перед прыжком львица приседает:

– Извините... извините... – Трудно выталкивала она из себя словесную мешанину, в которой было что-то и от русского, что-то и от словацкого. – Я так, извините, толком не поняла, что Вы сказали.

– Куда уж нам уж, – недовольно раскинул руки Петро, выстужаясь о женскую кротость. – А то и сказал... Что за мода дудеть под носом у незнакомых?

– Не знакомы – познакомимся, – чуть подалась она вперёд.

– Да хватит конопатить мозги! – Петро смотрел вызывающе. – Вам что, делать больше нечего?

– Представьте! – Дама коротко повела плечом, внутренне ликуя, что затеянная игра даётся. – Сбавляйте, пан, обороты да, – кивнула на заднее сиденье, – садитесь. Таксо подано.

Петро и распахни рот.

А наживлялся он было уже подпустить слегка покруче, с солёным кипятком – ан затрясла за рукав старушка, затрясла чувствительно. Старушка и до этого всё какие-то знаки подавала, просительно прикладывая палец к дряблым губёнкам, намазанным с молодой щедростью, да Петро всё отмахивался: нет, Вы погодьте, я рубну по-нашенски, по-русински! Он бы и рубанул, если б старушка, что подавала знаки и говорила растерянно, невнятно, так что Петро ничего не мог понять, наконец не нахлестнула своему голосу сил.

– Это ж наша Мария! – почти выкрикнула старушка, похлопывая движением бровей указывая на женщину за рулём. – Марушка! Мы приехали с нею за Вами.

Крякнул Петро.

– Весё-оленький перфект...

Он не знал, как теперь и быть, как вести себя. Стоял, с конфузливой беспомощностью озирался – как себя потерял. «Хоть японцы и говорят, что знакомство может начаться и с пинка, так кто ж тому пинку рад?»

Старушка душевно поманила Петра наклониться и ласково вшепнула в самое ухо:

– Ты, сынок, особо не обмирай. – Ободряюще дёрнула книзу за рукав. Позвала в полный голос: – Садитесь, сынки, садитесь...

Сама села к Марии, а Головани, все трое, сзади.

10

*Тело в тесноту – душу на простор.
Не конь солому поел, а солома коня.*

Тесновато получалось у мужиков.

Попав меж Иваном и Петром, уподобился отец комару, что завалился меж трущимися слонами. Выдавленный кверху с места, когда Петро последним захлопывал дверку и впихивался, завис нянько на сыновьих плечах.

Не мешкая развернул его Петро, усадил – иначе никак нельзя было – к себе на колено, пришатнул к груди.

С восторгом покосился старик на узкий затылок Марии, и Петру то ли помстилось, то ли въявь увиделось: сгримасничал, выставил старик затылку кончик языка.

Выждав, когда всё в машине угомонилось, всё с той же жизнерадостной, не тающей и вроде как будто с приклеенной улыбкой повернулась Мария назад, назвала себя, просто дала руку одному, второму.

Чуть приподымаясь поочерёдке и называясь, и Иван и Петро с мелким поклоном жали протянутую руку.

На первые глаза рука казалась жёсткой, точно узкая досточка. Но на самом деле – совсем напротив! Жила эта рука в тревожно белой холе, в мягком, кротком тепле, однако Петро, ответно давнув её с невольной толкнувшейся в душу короткой жаркой опаской, смутно почувствовал, что в этих бархатных, уютных лапках скрывались острые коготки.

Сидя вполоборота, Мария начала уже выкруживать к рулю и тут каким-то цепким боковым зрением ухватила, что старик почти вжался головой в крышу.

– Послу-ушай, Беда Иваныч! Да когда это ты успел так вырасти?

Перевалившись подбородком за верх спинки своего кресла, с протяжным свистом отпала: старик, весь подбираясь, пружинясь, в чинной скованности восседал на Петровом колене!

Пусто хохотнула, потрепала старика по щеке.

– Малыш! Ты отлично устроился!

Счастье брызнуло из стариковских глаз.

И какие там сплетни ни сплетай в этом «коровьем городе», счастливей этой минуты он никогда не был во все свои семь десятков. Он ознобно улыбался сквозь снова закипавшие в нём слёзы, ничего не говорил: не горазд был говорить, не мог.

Сыновья так и не слышали ещё его голоса.

– Вы уж, Мария, извинить за Шимпанзенко, – жалуясь лицом, с усилием забормотал Петро. – Свернулось глупо так...

– О! Трагедия олимпийского года! – накоротке вскинула над рулём руку Мария, отъезжая. – Забудьте... И потом, вся вина на мне. Уже в ответ Вы выдали свое бэ, а а сказала-то я!

– Как-то шелапутно вышло...

– Глубоко наплюньте на всё и успокойтесь. Пускай Вас утешает мысль, что всех людей роднит то, что все они умны после того как дело уже сделано. – Помолчала, кивнула головой, будто утвердила сказанное. – А вообще такой оборот развеял меня. Дамесса я шалая, моё а – моя маленькая хитрость. Тут уж ничего не попишешь, я вся из этих хитростей. Без хитростей мир был бы невозможен, бесполезен...

В своём городе Мария знала все ямки, оттого налётом летела уверенно; разбросанные всюду газетные клочья, будто опомнившись под колёсами, подхватывались с размолоченого асфальта, кидались вслед, но налиплая жёлтая грязь пригнетала, давила книзу своей

тяжестью, и обрывки, омертвело взмахнув на настуженном ветру раз-два, опадали, заваливались, застревали в глубокой обочинной пыли.

Может, на этой улице ленивый дворник?

С надеждой братья вламывались в новую улицу – за каждым новым поворотом была всё грязь и грязь...

«Да-а, это не Москва,» – в замешательстве покашивались в окна.

Старые по бокам в два этажа домишки рядились в рекламу. Вовсе не вязалась она с тем, что было ниже, под нею, на земле: вся эта наповал хлётко бьющая с фасадов роскошно-нео-новая жизнь стояла на грязи.

Далеко за безлесную гору, пустую, голую, как столб, нырнула верхняя закрайка солнца, и оттуда, из-за горы, оно слабо било в небо последними лучами, тревожно, пожарно окрашивая шапку полукруга на горизонте.

Солнце казалось братьям каким-то несчастным, обиженным, осуждённым, что ли: из-за облаков, где толстых, где тонких, ни в Лондоне, ни в Торонто, ни здесь им так и не удалось увидеть его в полной силе.

В воздухе растекались лиловые сумерки.

Быстро темнело.

Мария затаенно наблюдала за растерянными и всё реже поглядывавшими по сторонам братьями. Она видела, что их удручали, печалили давно неметёные, давно немытые улицы, но поскольку братья из деликатности ничего не спрашивали, помалкивала и она.

Однако когда вкатила свою чёрную жестянку в особенно грязный, затёрханный проулок, не удержала себя.

– Плоды забастовки налицо, – повела рукой. – Пятый день дуракут мусорщики. Сто-процентные ленькари!¹¹ За что только им, убей не пойму, набавлять зарплату?... О-ляля! – неопределенно покрутила рукой над головой. Того ли ещё жди!

Братья натянуто молчали, диковато ошаривали, из каких это щелей несло.

Кажется, все вплотняжь закрыто. А откуда-то студливо несло, постёгивало; было основательно холодно. Откуда сейчас взяться холоду? Конец мая, везде конец мая, выбирались из дому – тёплушко, в костюмчиках в одних подались (так, на всякий случай кинули в чемоданы по плащу), а тут тебе дай-подай – холодина собачий.

– О мама миа! Забыла совсем!

Резко затормозила Мария, осадилась несколько назад.

На пустом, безлюдном тротуаре из-за горки ящиков с пивом, всажённых один в другой, вывернулся выморенный мужичонка, ловко смахнул, сорвал себе на живот верхний ящик, с бутыльным перезвоном закачался к багажнику.

Эти три ящика пива, что жаловала Мария на «русский распой», она могла б, разумеется, забрать к старикам ещё вчера, когда закупала, всё равно ж приезжала на машине. Но сделай так, она не была б уже Мария Капутто: такие штуки не в её правилах выкидывать втихомолку. Её великодушию нужна непременно восторженная оценка на месте планируемого подвига. А потому и распорядилась, чтоб с пивом ждали её уже на тротуаре в тот самый час, как будет возвращаться с гостями из порта.

Всё было, как и хотелось: публика, восторги.

И только старик с немим подозрением ширил, тарасил zenки то на довольную Марию, то на проносимые в багажник ящики.

Наконец двинулись, повеяли дальше.

– Зач-че-ем? – простонал старик, воздевая в отчаянье над острыми плечьями Марии пергаментно-высушенные кулачишки.

¹¹ Ленькари – лодыри.

Братья и испугались сдавленного вопля, и обрадовались. Слава Богу, нянько заговорил!

– За-ач-че-ем?! – набирал злости стариковский голос. – У меня ж целый ящик полугодовой выдержки!

– То Ваш, а это, – скачнулась Мария назад, – а это ракетное горючее – лично мой скромный вклад.

Затевала она такое, что никому из едущих не могло и на ум зайти.

11

*Лошадь быстра, да не уйдет от хвоста.
Пировать так пировать – бей,
жінка, целое яйцо в борщ!*

Это уже так.

Если человек помнил Родину, помнил он и свычаи-обычаи Родины.

Уж с чем пустила своя сторонка на чужбину, то и живёт в нём, мается до последней его черты – душу не выплюнешь.

В стародавние времена за что только не пластал пан подати с русинского бедака! За плетень плати, за дерево плати, за окно плати, за дверь плати, за трубу плати... И чем просторней та же, к слову, дверь, то же окно, круче и подать.

И лепил горемыка хатуню без сеней, «без штанов», обшивал соломой, ладил поменьше окон да помельче. Со стоном счищал сады.

Страх перед гибельной податью привёз Головань в себе и в этот, как он с посмешками называл Калгари, в этот рай на самый край, где Боги горшки обжигают.

«Сегодня нет податей. А за завтра кто поручится?» – думал, сводя во дворе последние деревья; опустел, помертвел двор.

Перетряхнул и дом. Убрал три окна, а те, что оставил, порядочно сменил.

Дом и старики годами были без мала ровня, у всех в боку кисло не по одной болячке; по ночам, в ветер, в морозину, стонало всё в изношенном доме, будто жаловалось; старики молча жаловались на свои болячки; чудилось, дом слышал их жалобы, утешал: то сронится где щепка со стены, и старики примут её за сочувственный вздох стен, то надсадно охнет с мороза лестница, ей холодно в дряхлой, обречённой халупинке, и старики каждый про себя пожалеют её.

Чуть врытый в землю деревянный дом был на два этажа. С виду ненадёжный, крохотный. Однако сыновья не могли надивоваться, как это старикам удалось поделить, порвать его на десять комнаток, узеньких, тесных, на пару хороших шагов каждая.

Частое мелькание карликовых дверей и комнатёшек скоро утомило Ивана с Петром. Им казалось, сам нянько, знакомящий с домом и в подробностях жадно расспрашивающий их об их житье в Белках, будто и не было никогда толстых писем, держался нетвёрдо, мог сам заблудиться в этих призрачных лабиринтах. Обитель эта пахла своей ветхостью и ветхостью своих хозяев, была им под стать: древняя, полугнилая, невозможно запутанная, как и сами их жизни.

– Вы, нянько, не бросьте нас только в этом лесу, – со смешком сронил Петро.

– Не-е, сынку, бросить придётся, – рассудливо подумал вслух отец. – Мы с бабой Любицей долго ещё на белом свете не прокапризначаем. Переберёмся в вечные каменные покои. А эти уж Ваши...

– На месяц, – уточнил Иван, расплываясь.

– А-а, сынку... Где месяц, там и вся жизнь, – почти шёпотом проговорил старик, проговорил неуверенно, надвое, наклоняясь к Ивану. – Прошёл месяц, идут к властям. Власти ещё на полмесяца бьют штамп. А тамочки...

– ... а тамочки, – холодея лицом, сдержанно перебил Петро, – наверно, Мария с бабой Любицей приготовили уже всё. Айдайте ближе к ним.

– Да, да... – потерянно, будто его с кола сняли, закивал старик, направляя шаг к кухне и пряча смертельную досаду в глуби цветущих, гноящихся, глаз.

«Вот, ядрён марш! – расхаивал себя. – Наскочил чёрт на беса...»

Разворотливый старик загодя так и порешил, утолкал себе в голову, что с первого же дня навалится клонить сынов к тому, чтоб остались.

Вроде всё покатилося краше не придумать. Ни с чего путящей разговор поднял, вроде ответственность какая проблеснула...

Ан на! Обвалилось всё, как в пропасть...

Ватно, сникло брёл по теснине коридора, не замечал, что его заносило, тыкался плечом то в одну стенку, то в другую, не слышал стлавшихся сыновьих шагов за собой.

«Я отступлюсь на пока. Осматривайтесь... Не маленькие... Сами поймёте, где и с кем Вам способней быть... Перервусь, а не подкорюсь. Всё одно на свою руку выведу. Будет верх за мной. Бу-удет!»

Стекла в душу уверенность, уверенность дала силу. Взял себя в руки, вернулся старик к хлопотам минуты.

Заботливо спросил:

– А что, сынки, наиглавно с дороги? – Сам и ответил: – Конечно, поесть, поспать...

Не знал, что ещё сказать.

Пауза затягивалась. Становилось неловко, и он, входя в кухню, обрадованно вспомнил, про что тянуло спросить давно, утишил шаг. Заглядывая Петру в самые зрачки, заговорил не без боли, одетой в притворство:

– Петрик, а правда... И по радио, и по газетёшкам по нашим, и по телевизору... Скрозь такая пропаганда... А правда... А правду брешут, что у вас голод?

Уловил Петро язвинку в голосе. Но виду не подал.

– Смертельный! – весело кинул.

– Выходит, есть вам от нас подмога. Как-никак даём пшеничку...

– За золото. Государство платит вам золотом. А нам за копейки отдаёт. Абы накормить досхочу всякого.

– С привозу накормишь такое множество. Сорочат, с голоду пухнут...

– Пухнут! Ох как пухнут, нянько! Вот один перед Вами пухлый. – Упёрся Петро в раскисшие бока, демонстративно шагнул в белый кружок весов, стояли в кухне, ближе к углу, но не далее как на вытянутую руку от двери. – Вот!.. С голодухи под триста фунтов наскрёб! Перепух!

В бережи оглаживал он здоровыми горстями тугое бочковитое брюшишко, как бы с ехидцей твердя, эко-де разнесло, расперло пухляка с беды.

Старик с тающим недоверием сторонне косился на его живот, часто смаргивал, будто что попало в глаза, помалу губы сами собой сложились в улыбку. Не похож на голодовщика. Оюшки, не похож!

С весов Петро трогал глазами Марию, кроившую паутинно тонкими кружалками колбасу. С ножа, с колбасы взор то и дело заманивало, сошвыривало книзу, и сам собой взгляд тяжелел, соскальзывал на разрез сбоку в блескучем красном платье.

Всякий раз, как Мария переступала, прорешка коротко распаивалась, на миг из неё узко выказывалась творожной белизны нога до самого верха.

Припомнилась афиша про театр одного актера, и тут, глядя на ногу, которая то выглядит, то спрячется, то выглянет, то спрячется, пришла ему мысль, что это – театр одной ноги. Мысль эта ему понравилась, он улыбнулся ей и с трубным вздохом поднял-таки любопытные глаза выше распах прорехи. За Марией был настезь раскрытый холодильный шкаф, сверху донизу навально забитый свинными, куриными, говяжьими оковалками.

– Да Вы что? И в сам деле возрешили, что мы из голодного края?

– Тут, сыне, полтора центнера, – с теплотой во взгляде отозвалась от плиты баба Любица, поведя ложкой в сторону холодильника-стенки.

– И всё это намечтали затолкать в нас?

– Кое-что и в себя, – уклончиво улыбнулся нянько. – Бралось оно не вчера и не сегодня. Ноне мясо с зубами. Кусается. А ну девять доллариков отдай за кило! С бабкой мы тёртые-перетёртые, набрали в сезон. По полтора твердыша.¹² Этот запасец надобно нам растянуть на три года.

– Ну-у! – вбыструю подсчитал Петро. – По семьдесят граммулечек в день? Это ж что? Только понюхать? Извинить... И Иван, и я в каждую осень валим под нож по два тушистых кабаняки. Лично я привык есть так есть. А не нюхать!

А про себя подумал:

«Да при такой нормочке, извиняюсь, меня ни в какой театр не позовёт!»

– Ограничение в пище гарантирует долголетие и красоту тела! – с вызовом почти выкрикнула Мария и в подтверждение своих слов тяжело пристукнула тарелкой, ставя её посреди стола. Тарелка была выложена в один слой невообразимо тонкими ломтиками колбасы.

«Это-то на всех?! Да я на одну вилку всё это насажу, за раз проглочу. Вот и вся твоя красота!»

Чувствовалось, напала Мария на свою жилку.

Распалаясь, горячо раскатывала свою мысль:

– В каждом толстяке, Петруччио, живут двое. Собственно, сам толстун – пардон, о присутствующих не говорим! – и второй... тонкий, изящный, праздник для каждого сердца. Если с пузанчика стесать диетой всё лишнее, все те смертельно опасные валы жира, согнать всё его уродующее, в итоге получим само совершенство природы, – просительно улыбаясь, не без кокетства коротко показала на себя, жердинно выпрямляясь и подавая себя публике. – Это я Вам говорю как член общества, которое так и называется «Сбрось фунт веса с умом».

– В самую точку! – подавшись навстречу, выставил Петро палец, будто собирался проткнуть это само совершенство. – Вот эта проблема сушит и нас, голодных! – многозначительно, с сарказмом глянул на отца. – Ваша пропагандёшка поёт, что у нас проблема как поесть. А Вы наплюйте той худой пропагандёшке помеж очи за такую брехню. У нас же совсем другая серьёзная проблема. Как похуде-е-есть!

– Океюшки, дон Педро! – торжественно пришлёпнула Мария длинными вытянутыми пальцами по мягкому плечу Петра. – Своим богатым опытом я готова, братко, делиться с Вами хоть когда!

– Э-э... Какой из меня ученик?

– Не клевети на себя. Все мы ученики, покуда живём. К практическим урокам похуждения привлеку маму.

– Марушка, – с тихой усмешенькой отозвалась от печи мать, – я уже готовлю к подаче, позволь так сказать, твой первый урок.

Она дожаривала обваренное постное мясо, кутала в бумагу, забирая с мяса остатки жира.

– То ж не мясо будет. Резина! – Петро сложил ладони лодочкой, с мольбой поднёс к груди.

– Для кого резина, а для кого и диета. – В старушечьих глазах затлелась обида. – Тебе, сынок, надо есть половину того, что ешь. И никаких жиров! Никакого сала!

– Доскакался мячик – на гвоздь напоролся, – упало покивал Петро. – Да при такой диетке недолго ковырнуться даже и в гостях в могилевскую. Мне ж в обед дай-подай мисяку борща, шмат сала с пол-локтя да пол-литровую банку сметаны. Тогда я и работник. Готов ворочать горы.

– Допустим, ворочает горами трактор, а не твоё сало, – тускло возразила старуха.

¹² Твердыш – доллар.

Всё то время, решила она, что пробудут здесь братья, будет она снимать с Петра лишнюю тяжесть. И первым пунктом в её науке похудеть было: откажись от хлеба. Ну, за обед можно один ломтик, тонюсенький, как листочек. Больше ни-ни. С хлеба человек жиреет.

Смотрите вот на нас.

Люди у нас мелкие, лёгкие, диетичные. Вон даже наша Марушка. Призёрка лестничных бегов на самой высокой в мире торонтской телевышке...

«Призёрка! – хмыкнул Петро, покосившись на длинноногую Марушка. – Мда... Так какое сходство между телевышкой и женской ножкой? Чем выше, тем больше дух захватывает».

– Да! Призёрка! – подкрикнула гордовато старушка. – И здесько ничегошеньки стыдного! Почётное звание никому не навредит. А здоровью ого-го какой приварок это скаканье! Ведь одна ступенька при подъёме по лестнице продлевает жизнь на четыре секунды!

– Надо ли так убиваться из-за каких-то четырёх секундёшек? – ехидно бросил Петро.

– Надо, сыне! – торжественно пристукнула по столу ручкой ножа старуха. – Вся наша жизнь складывается разве не из секунд?

Петро приподзакрыв глаза. Промолчал.

Лишь пожал плечами.

– А таких грубых, – ласково продолжала старуха, – то есть полных, здоровых, как ты, Петрик, волов не встретишь в Канадочке. А всё потому – мало едим хлеба. И вообще сыты с пальчика... Знаю, любишь селёдку – тебе нельзя. Налегай, сынаш, на обезжиренное мясо, на фасоль с капусткой, на диетичные яйца, на овсяную кашку со снятым молочком...

Понуро слушал Петро приговор, редко взглядывал без разницы на плоскую, усохшую старуху, на такую же худую-расхудую её дочку, – ну прям гремит арматурой! – и обмякло думал, что же с ним станет, как усадят на диету. Вот гостеванье так гостеванье! Неуж страшатся, что не прокормят месячных гостей, а того и мостят под голодовку научную базу?

Старуха заметила надломленность в Петре, услужливо поставила перед ним капусту на постном масле.

В милости пропела:

– Не переживай, сынок. У нас, в Словакии, знаешь, как говаривали? То, что должен сделать, сделай сегодня, а то, что должен съесть, оставь на завтра. Оставим всё тяжёлое на завтра.

Петро опало поддакнул.

– А у нас, – ладясь старухе в тон, вкрадчиво встегнулся в разговор старик, – а у нас, в Белках, не хуже говорили... Хочешь, чтоб учеба на ум пошла, промой сперва извилины спиртом, – и, стукая бутылками, выставил пиво.

– Правильно! И сейчас так говорят, – ожил Иван, заждался в скуке ужина. – Народная мудрость не ржавеет. – Да на стол бутылку пшеничной, бутылку русской. У ног держал.

– Ух ты-ы!.. Русская паленка¹³ собственной персоной!

Прищёлкнул старик по этикетке ногтем, погладил, виновато, потерянно косясь по бокам; будто для согрева с большого мороза неплотно охватил дрожащими скобками наливавшихся белью ладоней:

– Россиюшка...

Показалось старику, смотрят сыновья на него как-то нехорошо, с укором. Мол, водочка – кума, хоть кого сведёт с ума. А может, ты пьяным и родился?

Отдёрнул руки от русской, смято заоправдывался:

¹³ Паленка – водка.

– Может, так с годок назад пивком ещё баловался... Нанёс мамай не знай эсколько! А тут врачи: больше нельзя тебе, дядько, пересахарился... Откопали чингисханята сахарный диабет! С той поры ни граммушка... Так с той дави пивко и стоит... Нетронутое...

– И всё годное? – Не стерпел Петро, соснул прямо из горлышка старого пива. – Как вчера с разлива! – Весёленький перфект! Мо-ожете делать...

В крохотные, с напёрсток, простые стаканчики наплескал старик русской.

Сморгнул слезу. Встал. И все встали за ним.

– Пиво – дело любовное. Пиво оставим на пока. А почнём с русской. С праведной. Первую пьют все, кому и нельзя. Из этой бригады я не отсаживаю и себя. Один раз помучусь и больше не буду... Сегодня всё всем можно... Ты, бабо Любша, не хвались давлением. Его уже и Петро, меньшак, нажил... Помру от своего сладкого обеда-диабета, а выпью с сынами... Ну... Чокнемся... За встречу, сынки!

12

*Где верховинец, там и пенье.
Нашему Ивану нигде нет талану.*

Пили и по второй, пили и по третьей; пили русскую, пили пшеничную, пили пиво; пили и в обратном порядке; выпитое сообщило этим собравшимся вместе людям свою волю, свою власть, и это заданное вином поведение, пожалуй, и было самое откровенное, самое естественное, что так горячо, может, в течение всей жизни каждый из них нёс в себе этой встрече.

Вскинутый тесный стариковский кулачок, откуда забрал всю силу опой, развалился потным комочком и вальнулся на стол:

– Пе-еть...

Чего ж такое и петь?

Стали Иван с Петром перебирать давношние песни. Кривясь, крутил старик охмелелой головой: не та! не та! да не та! Не-ет, не знают, не ведают сынаши, чем жива отцова душа.

В обиде ворухнул медвежьими бровями, хватил в бессильной досаде рассыпающимся кулачком по столу и, просторно кинув руками, закрывши глаза, загудел сипло. Поднял, повёл свою:

– У-у-у трем-би-точ-ку-у заг-ра-а-аю...

Ну как же!

Как же это Петро с Иваном сплеховали, как же вылезло из ума простое такое дело? Ведь по Верховине всякое застолье, большое ли, малёхонькое ли, без «Верховины» и не застолье. Уж так велось-правилось всюду, и как же они такое упамятовали? Ка-ак?

Разогорчившись и жарко обрадовавшись, что и за морем широким тот же обычай ходит меж русинов, в яростной согласности поддержали, грянули:

*– Загра-аю, загуду-у-у,
З своим милим рідним краем
Розмову пов-ве-ед-у-у...*

Пойманной, загнанной ласточкой билась счастливая песня в низкие стены, в тесное оконшко, напрочь закрытое, тяжело зашторенное, – радости не вымахнуть, и малой каплей не пробрызнуть на улицу, на народ. Так уж велось, и в будни, и в праздники всяк знай лишь свою кучку, свою семью, всяк живи в себе, всяк нянчь свою мозоль и не лезь ни к кому с чем бы то ни было, с бедой ли, с отрадой ли – спишут в дремучих глупцов.

*– Верховино, мати моя,
Вся краса чудова твоя
У мене на виду-у...*

Верхом руки отирая слёзы, старик крепился, напрягался весь до пружинности в жесте, в лице, во всем теле. Слабый, скоро захмелелый с малой выпивки, мучимый ещё диабетом, он перебарывал, переламывал себя, а таки не отпускал, не терял песню, такую родную...

Пел он её чаще молча, не каждый ли вечер пел.

Здесь, на чужбине, было усыхающее, умирающее его тело, но ни дня не жила с ним его душа: осталась она там, в родовом селе, осталась с Анной, с малыми хлопцами, и вот они привезли ему с Родины, вернули душу, чистую, молодую; мог он теперь одолеть и одолевал помалу в себе того, тутошнего, задавленного, кругом и во всём виноватого, во всём и всякому уступающего: здесь ты не у себя дома. С приездом сынов вошла в орёлика сила, вернулся он в ту пору, когда покидал свою хату заради надёжного хлеба своим детям, да не он им – они ему привезли радость, про которую думал, ложась и вставая; и тутошний, затёрханный, уходил, выдавливался из него, птясь от другого, уверенного, решительного, как сам Петро.

Слились большие годы, а старик с твёрдой ясностью видел всё, про что пелось в матушке песне: и туман над ущельями, и синеющие за горами горы вдалине, и облака над ними, будто овцы на полонине, и сам он с палкой, бредущий за овцами, молодой, сильный, бездольный...

Покуда он пел, он был дома – всё там оставленное приходило к нему в этой песне. И был ли хоть день без этой песни? И был ли хоть миг, чтоб гнетуще не звало, не тянуло к покинутой земле?

Не будь океана, ушёл бы пешком, потому что, состарившись тут, он уже боялся не выдержать обратной дороги домой на пароходе или на самолёте, а потому одинаково боялся и парохода и самолёта – на самолёте он ни разу не летал, даже не смел подходить к нему – и только надеялся он ещё на свои ноги, как надеялся на них в то далёкое лихочасье, когда пешим порядком допластался, дотащился-таки от Белок до океанской воды.

Шли они тогда артелью, подрабатывали по пути на харчи и шли. Дорога не ввела его в трату. Расходов то и набежало, что на пароход ушло, да и те, пароходные деньжата, он вытрудил, так что всё вырученное за Аннушкин полгектарник земли, за коров, взятое в долг под проценты отправил он назад сразу, ещё с краю Европы, едва подскреблась побитая долгй ходьбой усталая нога к пароходине...

Иван и Петро, сидевшие от отца по бокам, уткнувшись лбами ему в плечи, сосредоточенно гудели своими басами; кручинно подбивалась к ним тоненьким усталым голоском баба Любица, время от времени промокая глаза белым платочком.

Одна Мария не пела и не плакала. Не знала она ни слов, ни мотива песни, ей было в удивление, ну чего это разливаться про какую-то там Верховину? Про ту Верховину и не слышала она ни от кого кроме как от отчима, к кому приворачивала лишь по Рождествам на минуту-другую.

Остонадоело ей это гуденье.

Храня внешнюю весёлость, выдернувшись из-за стола, закурила. Припала птичьим плечишком к стенке, занесла ногу за ногу и из дыма с отстранённой, чужевойтой насмешкой следила за застольем. В смеющихся её глазах навылупке не было полной радости, напротив, в них толклись недоумение, тоска, сиротство, что вероятней всего и выражало её состояние; она недоумевала, зачем она здесь так поздно, но она и знала зачем; она б давно унеслась из этого чужого ей гнезда с чужими болями, слезами, памятью, если б не пикантного свойства одно хотение, что прилипло к ней на вокзале при виде братьев и укрепились в ней уже тут под придушенное пение.

– С-с-сынки-и... – доведя песню до конца, старик с жалобной кротостью заглядывал сыновьям в лица, – мои сынки-и... Как дома побыл... Эхма-а... Да разве, – ладонями судорожно стиснул Ивану щёки, верхом приблизился к Ивану, с горячностью зашепел словами, – да разве, Иванушко, мы Иваны, не помнящие родства? Разве мы какие без Родины? Без роду? Без племени? Разве мы какие-нибудь там бжезинскасы¹⁴ поганые? А-а!... – сронил

¹⁴ Бжезинскасы (правильно Бразинскасы, Пранас и Альгирдас, отец и сын); при побеге 15 октября 1970 года на Запад захватили советский самолёт, убили молодую бортпроводницу Надежду Курченко.

без жизни руки. – Сколь тут дней жмусь, сынки, столько разов и отчаливал домой. А всё тутоньки да тутоньки...

– Это, дед, – Мария вяло качнулась от стены, из дыма, – называется бег на месте. Бег в завязанном мешке. А между тем, – дробно потукала острым кроваво полированным коготком по часам на Ивановом запястье, – уже настучало за полночь и счётчик, – подняла мертвенно-скучный взор на лампёшку, слабо желтела под бумажным абажуром, – не стоит в этом серале на месте. Не в пример тебе...

Знала, куда шильнуть!

Старик смешался. Обмяк.

Месяцами дед с бабкой сидели по вечерам без света. Экономили. А тут тебе на! Полночь. Лампёха полыхает!

Морозина скатился по спинному овражку. Старик окаменело уставился в одну точку.

«Конечно, – трудно соображал, – какие ни раздорогие гостюшки, а час не вечерний... При полном огне... Край это нужно, как собаке чёботы летом... Набеседуемся ещё у день... Да и хлопцы с дороги подморились...»

Наказал старик старухе вести Ивана в комнату со шторами, расшитыми верховинскими хатками, это лучшая комнатка на первом этаже. А сам наладился с Петром в комнату с часами – во всём доме лучшая, самая дальняя комната на втором этаже.

– Де-едо, – отгоняя от себя дым, каким-то искательным, повинным голосом окликнула Мария. Старик оглянулся. – Дедо, отправлялся бы ты сам в своё Сонино, – срезанно уронила хмельную голову набок, на подставленные вместе плоские ладошки, шатнулась в сторону дедовой комнатёнки. – Тебе ль скакать по этим лестницам? Дай я провожу Петруччио да и помчу к себе...

– Раз желательно душе, проводи, дочурчинка, – не то обрадовался, не то огорчился старик – по смятому, пустому голосу невозможно было понять – и нетвёрдо, с усилием одиноко поскрёбся к своей боковушке.

13

Что бабе хотелось, то и приснилось.

Не моргать брови и усу, коли девка не по вкусу.

Сразу за крутой, почти в отвес падающей шаткой лестницей, верхняя ступенька которой служила и площадкой, начинались комнатки.

Пётр и Мария шли из комнатки в комнатку, и впечатление было такое, будто комнатки нанизаны бусинами на невидимую одну нитку.

Под первую же дверь, что открывалась, как и все остальные вовнутрь, Мария – шла она сзади – зачем-то сунула подвернувшийся под руку стул с вытертым сиденьем, откуда сквозь свалявшиеся грязноватые комья ваты выглядывали окроплённые ржавчиной пружины.

– Ты или в лесу? – коротко хохотнул Петро. – Боишься заблудишься и не выйдешь? Тогда уж лучше руби на косяках зарубки.

Мария просительно подняла палец к губам.

– Без комментариев.

И припнула стул и под вторую, и под третью дверь, и под четвёртую.

Не успел Петро и глазом обежать свою комнатёнку, как Мария, выстегнув сверху свет, зажгла слеповатый настенный ночник, что мутно зазеленил едва один уголок и дальше никак не теснил чёрную волю ночи. Тут же Мария охмелело вскинула над собой изнаночный низ платья и, приседая, стала туго вышатываться, выдавливаясь из него, как змея из красной кожи.

– Весё-о-оленький перфект! – присвистнул Петро, дивясь видимому, а присвистнув, – познакомился мешок с латкой! – с отстранённым чувством опустил на ней платье, придёрнул книзу. – Между прочим, здесь ты не одна. Улавливаешь?

– Улавливал бы это ещё и ты, дон Педрио... Психодиночка... Дурёнок... Мне кажется, у тебя одна извилина и та ниже пояса...

Устало, побито раскачиваясь с носка на пятку и с пятки на носок, Мария с капризной наигранной ласковостью, что скрывала досаду, щёлкнула Петра по сочно налитой розовостью мочке уха.

– Учти, от твоего юморочка, увы и ах, я начинаю без меры катастрофически трезветь, братка. А это крайне чревато для окружающей среды.

– Знаешь что, сеструня, – с ленивой обидой в голосе отвечал Петро, – за проводины спасибо. А теперь отчаливала б ты к себе до хаты. Без юмора.

– Отвянь, – уныло отмахнулась она. – Я без юмора остаюсь, – и так же с унылым потягом развела в стороны согнутые в локтях руки, будто то, что она делала, делала без малейшего своего желания – принудительно выполняла всего лишь чужой, сторонний указ.

– Ах, во-он оно как! Не хочу в ворота, разбирай плетень!.. Позволь узнать, а кто здесь гость?

– Под этой крышей мы оба гости. И ты не забыл, что женщине, между прочим, не возбраняется уступать?

– В чём? Эта комната отведена мне.

– А разве я прогоняю? Оставайся и не забывай, что ты мужчина. Я боюсь темноты, – повернула голову к чёрному омуту окна. – Одна я никуда не поеду. И неужели выставить хрупкую, незащитную женщину в глухую ночь – только на это и хватает доблести у современных рыцарей?

– Разве кто-то кого-то выставляет? В доме же-есть ещё свободных комнат. Выбирай любую!

– Я выбрала. Эту! С часиками!

– Часы, подружка¹⁵, мои, – с неколебимой холодностью заключил Петро; безразлично, по какой-то внутренней обязанности, словно перед ним была кукла-растрёпа, выпавшая из рук засыпающей малышки, застегнул молнии у Марии на платье по бокам, как бы подводя последнюю черту под пустыми словами, и тут она, похоже, опомнившись, что это уже и всё, почувствовав, что это уже и весь конец, запоздало вскипела, сорвалась – со всего маху огрела его кулаком по плечу.

Комариной силы удар опрокинул то пьяно-дремотное состояние, в котором находился Петро, разбудил, дал живости, и он с каким-то ранее не ведомым ему самому интересом стал вглядываться в Марию.

– Лось сохатый... – задвленно, оскорблённо цедила она сквозь зубы, мечась из угла в угол. – Липнуть к несчастной к одиночке... Думаешь, как одиночка, так и обжимай до угару? Ка-ак же!.. Или думаешь...

С вызовом, демонстративно распустила она снова молнии по бокам. Свела руки на груди.

– Ух ты! Какие мы смелые! Как лягушата. Прыгаем в омут и не крестимся!

Петровы глаза, восхищённые, по-доброму улыбались.

– Пускай лягушата! Пускай! Да зато ни лягушонок воды, ни мышонок копны, – в ласке она скользнула ладошкой по его утёсному плечу, – не бояться!

– И на здоровье, – согласился Петро. – Только на что ж... Забралась мышь в чужую солому, ещё и шелестит?

Не убирая с неё весёлых глаз, попятился, присел на край скрипнувшей кровати, выжидательно подпёр ладонищами голову. Ну-ну, полетай, вилюшечка вертячая. Посмотрим, на сколь хватит парку...

Он смотрел ей в лицо, смотрел сосредоточенно, оценочно.

Однако через минуту подловил себя на том, что не удержал высоко очугунелого хмельного взора, спихнуло, придавило взор книзу, и как он трудно ни подымай глаза, не мог поднять эту невозможную тяжесть выше красного её хулиганистого запаха, откуда то и дело кокетливо-дразняще выглядывала при ходьбе ножка не так чтоб уж и очень удобная, но не без точёности, не без сытости, не без лоска.

– Театр одной ножки...

Марию эти слова царапнули. Стала подле Петра, в кураже тыкнула его в лоб пальцем.

– Нормальный наберётся – в глазах двоится. У этого ж половинится! Разожми глядела! – и коротко отпахнула край платья.

Ног было, действительно, две, на что Петро, про себя посчитав, одобрительно кивнул, слегка тряхнул её кулачок, с достоинством державший в сторону край платья так, что обе ноги были слишком смело видимы.

– Опустит занавес, спектакль кончился.

– Начался, – в ломливом поклоне поправила она, снова собрав руки на груди, стоя к Петру именно тем боком, откуда из огневого провала, казалось, с усмешкой смотрела нога, белая, чуть взрозовевшая от русской водки, смотрела маятно, ждуще.

– Уходи, – ласково попросил он, – уходи-и. Христа ради. От греха надальше...

– А я шла, может, к греху поближе, – ещё ласковей возразила она, летуче погладив его плечо сторожкими жадными пальцами. – «Я не та, про которую говорят: не одни лапти чёртушка порвал, покуда её спаровал. Ойко, не та! Я не отпаду так от медведя от русского».

– Не могу я вот так, – с проста сердца сознался он. – В первый же вечер...

¹⁵ Подружка – подружка.

– А ты представь, дон Педрио, что уже второй, – просияла она.

– Представлял... Всё равно не могу...

– Ты представлял себе всё, – надсадно стреляя ословелыми в глуби омутков глазами, вкрадчиво, нарочито хохотнула, одевая свои слова в шутку, единственно возможную в таком зыбком, валком случае, когда на полной серьёзности и не повернёшь язык на то, что надобно выворотить, – ты представлял без одной существенной пустяковины. Без моего ювелирного магазина... Хоть сейчас поехали! Бери! Что на тебя посмотрит!

– А если всё на меня уставится? – в тон ей с дурашливой игривостью вывернул он.

– Бери – всё! Всё-ё-о! – сорванным, пониклым голосом шептала дрожаще она. – Даже меня можно в придачу...

– И тут нагрузка! – саданул себя Петро в коленку. – Не-е! Оставайся, лавонька, с товаром! Побрежали, намололи на муку да на крупу, лясалки поточили и – доволе. Иванова жинка как учила дочку? Не знакомься близко с незнакомыми. А и я те уроки не пустил мимо уха.

Затянувшаяся эта болтовня вывела Петра из себя. Потемнел лицом, набряк, надулся, как тесто в корыте.

Он решительно подхватился, крепко сжал Марию за руку вывести, и это, поняла она своим женским чутьём, было бы худшее, что можно придумать в её положении. Это бы отрезало, заказало ей путь к нему и завтра, и послезавтра, и потом ещё Бог знает на сколько – да на всё то время, пока будет он здесь. Страх навсегда спалить к нему мосты самой себе напугал её, она быстро протрезвела, как кошка, которая скоро поняла, что сверх всякой меры нашкодила. Конечно, навалилась на себя с запоздалыми поправками. Человеке с дороги с такой долгой. До меня ли ему сегодня? Ладно, пускай я оставлю его в эту ночь. Зато во все остальные ноченьки – он мой, мо-ой! Никому не отдам!

Она улыбалась своим мыслям, богатели от этих мыслей, от всего того, что сулила эта перспектива; ей было уже достаточно одного лишь того, что этот медведь, как она говорила, ростом в два метра без кепки, вёл её под руку, *он* вёл её, не кто-нибудь, а *он* сам, и больше ей ничего не надо ни сегодня, ни завтра, ни потом когда – всё её существо заполнили, залили гордость, торжество. И что до того, что вёл он её всего-то только до двери, главное, *он* вёл!

Когда он опустил руку с её локтя и мягко, как-то особенно обещающе тихонько подтолкнул – и в том, что он вёл её до двери под руку, и в том, что нежно прищёпнул по жидкой заднюшке – всё это виделось ей добрым знаком, добрым залогом, идущим в будущее; уходя, она уходила с лёгким сердцем; ей было просто хорошо, славно; никогда так она себя не чувствовала; в обновленной её улыбке, в прощанье с порога вскинутой руке были и счастье, и зов, и ожидание, и надежда – в лице, в жесте горячо билось, дышало всё живое, непритворное; этот проблеск искренности, чистоты горел и в глазах, твердивших: я верю тебе, я жду тебя, я надеюсь. Помни, у моей надежды глубокое дно...

14

*Не остри зубы на чужое.
Дырявый мешок не наполнишь.*

С невозможной обидой на Марию брёл старик в свою боковушку. Уму непостижимо... Ну как эта крутижопка словчила отбить Петра?

Как отправил визы, замечтал...

К первому сну разнепрременно сам поведёт сынов. А вертанулось...

По жалости дал бабке проводить Ивана. Иначе вроде и нельзя. Даром что в обиде на бабу – за долгий канадский век так и не нажили ребятня, – а не отказал в последнем. Все ж кануны блажно просила дозволить быть ближе к его сынам, старик и размахнись: не родила ни одного нашего, радуйся хоть на моих! Сам и скомандирничай, чтоб вела ко сну Ивана, затаённо ладясь сам проговорить до утра с Петром, с младшеньким. Вот сведу к постельке, уложу, подсяду, пристегнусь где на прилепушке у изголовья, сынову голову к себе на колени и такая завяжется у нас открытая, вся наружу, беседа... Развязалась, кактус тебе в карман! Будто всё внасмех крутнулось. Откуда только и выпнулась эта... Эта метёлка с пустом не кинется. Уж умысел какой да припасла...

Не раздеваясь, Головань долго сидел у себя, сторожко вслушивался в лестницу. Уж кто-то, а лестница первая скажет, как станет Мария спускаться от Петра. Но лестница, шаткая, с подскрипом, молчала, не подавала своего голоса, старого, скорбного.

И за стенкой тихо.

Ни шагов, ни даже вздохов, таких привычных перед сном.

Конечно, бабка уже спит. Эта и сегодняшнюю ночь подпихнула под одну гребёнку со всеми минувшими, короткими, длинными, всё больше длинными, их такая гибель была – четверть века заспала.

Дальше, за бабкиной комнатой, Иванкина; тихо и там.

Тихо во всём доме.

А что же Мария? Что же всё околачивает баклуши? Не уходит? Что же, идол её бей, вейся до такой поры?

До звона в висках цепко вслушивался в ночь, наливался беспокойством, щемливой тревогой...

Наконец-то и он, тяжёлый на ухо, уловил придушенный, тугой стон ветра.

Что-то неясное подхватило его, с потерянным удивлением закосолапил он во двор, тесный, похожий на заполошно гудевший чёрный котёл.

На месте не оказалось Мариной машины. Это успокоило, уgomонило старика: уняло, отломало разом сердечушко.

Слава те, Вышний, убралась, по порожкам по лестничным, гляди, на босых пальчиках скралась без слышимости, без шороху. И ветрина тебе в спину! У Голованей полижешь мёду только через стёклушко!

Вернулся назад уже другой. Не тоска, не оцепенелая растерянность – ликование билось, выплясывало в посмелелых глазах, торжествующе обходивших комнату.

Взгляд зацепился за горку привезённых карточек, что стекли на тумбочку из белого плотного конверта.

Белки... Мои Белки...

Мог ли он и подумать, что сведёт-таки судьба с сынами в этом далёком от тебя доме? А свела, све-ла-а сударушка...

В бережи выплеснул карточки поверх лёгкого простого одеяла на постель, разместил что за чем в порядок.

Вот само село. Дома... Сады... Улицы...

Вот люди...

Выказывался, получался портрет Белок...

Портрет Родины...

И если...

Отстранённо сорвал со стены свою крупную карточку над оголовьем. Фотография была не столь старая, сколь давняя, как с иронией думал про неё, снята она была уже здесь, и был он на ней один, это была вообще первая с него карточка в жизни, после он отдал её увеличить.

Первым его желанием было выдрать снимок из-под замутнённого временем стекла, но в следующую минуту он воспретил себе это делать. Нет, нет! Ни за что!

Весь век свой он видел мир сквозь родные Белки. Что он видел? И мог ли толком видеть? Если видел что, так не больше того, что увидишь вот так вот...

На свою фотографию он вплоть, срез в срез, наложил привезённые Петром оттуда карточки, прижал стеклом. Вот уже и в рамке его Белки, под Белками он сам, растворился в Белках; карточки так плотно пришились друг к дружке – ни паутинной щёлки, ни лезвенного просвета не осталось ему, как никогда и не было в самой в жизни, не глянуть в воле с-под мёртвого стекла в мир.

Вышло что-то вроде простенькой наглядной картинки про себя, такой ясной – свет разлился в душе. Ощутил осязаемо, что за шоры носил в себе, как-то разом сошлись несводимые концы, как-то разом объяснилось смутно угадываемое раньше, но совсем так и не понятое.

Намахнул старик на рамку расшитый внучкой Маричкой рушник. Получилось красиво. И потянуло его показать эту красоту Петру. Почему именно Петру? Оба сына родные, за какой пальчик ни дёрни больно... И всё же непременно сперва Петрику, младшенькому...

Плечом отпнул дверку; пристукнул, закрывая ногой, и что было в нём огня в нарастающей радости изгоном погнал себя в полной темноте коридора к лесенке, подгнетая обряженную рамку к маятно настукивавшему сердчишку.

Не успел сделать и пяти пробежистых шагов – упал, распластался, в кровь рассадил нос, лоб, однако не выронил портретницу, со страшной жутью хрустнувшую под ним.

Что за язва?!

Во все тёмные поры без света шастал по коридору, ни разу ни на чем не споткнулся, не на чем было спотыкаться, потому как у аккуратиста хозяина всякое-разное хламьё не копилось, не жило в коридоре, хватало на то места и в чулане, и в сарайке. За что же он тогда задел?

Старик, опутив на пол святую свою ношу, не подымаясь, отскрёбся назад, ощупкой пошарил, поискал ногой. Ага, какая-то гангрена да и попалась под ботиночный носок. Полохливо дрогнула, удёрнулась.

Кинулся прыжком, точно кот за мышью. Сцапал кого-то за щиколотку, оторопело давил.

– Ты уж, дидыко, дай мне прощенья, – размывчиво, без уверенности глухо запросилась старуха.

– Ты!? – нарывисто, запальчиво зашептал старик, обегая руками стоявшую на коленях бабку. – Вот окаянство! – К душе старику пришлось, что стояла-то бабка перед Ивановой дверью, свернул пыл, отмякло спросил: – Ты чего на коленях? Или молишься?

Бабка молчала.

– Ночь на то, чтобышки спать, – пальнул с незлым назиданием.

– А... Какие в наши года сны, – припечалилась раздумчиво. И зашептала горячо, светло: – А ну Иваночко... красивый, как шёлком шитый... попросит воды... А ну наснитися тяжёлое что с дороги... вскрикнет, позовёт сынок... Я и тут...

– Ты у меня ско-орая, – не то похвалил, не то попрекнул. Подумал недобро: «Хорошо возле чужого стога колоски собирать». – А вслух передразнил, выпустил колючки: – Я и тут, я и тут... Надо было...

Недосказал, что же такое надо было. Осёкся.

Вздохнул с протяжной надсадой.

«Выхвалялся гриб красивой шапкой, да что из того, если под нею головы нету? Неча караулить ночи под дверью у чужих сыновцов. Своих надо было нащёлкать.»

Меньше всего можно было винить старуху в том, что не прижили они детей. Как только она беременела, он сам выискивал ей подешевше повитуху, бабушку-знатущку, и та убивала в ней начало новой жизни; убить того безымянного человечка было дешевле, считал старик, чем выходить, когда уже сами на последнем возрасте, на том возрасте, когда ещё могли завести детей, но боялись, что не хватит силёнок в чужой стороне поставить детьё на ноги; три новые жизни забрала из старухи повивальная бабка, а потом уже и повивальная бабка не занадобилась, когда таки отважились, что больше не позовут её.

Мёртво всё в пустом доме без детского голоса. И всякий раз, как разговорятся по душам, старуха неминуче свернёт к слезам: ах, кабы маленький, было б для ради кого и жить, а так... Что ж так?.. Остались, как в море без весла...

Всего бывает на веку – и по спине, и по боку. Но чтоб не дать жить дальше своему корню, остаться чтоб без детей?..

Старик, виновативший в том одного себя, из последнего жалел старуху, по жалости спускал ей всё, что там ни случись, что там ни вывороти она; вот и сейчас, потерянно возвращаясь с рассаженой рамкой в свою комнату, с порожка простительно кинул старухе в темноту:

– Чего ж, ядрён марш, путаться под ногами?.. Наравится – войди к Ивану. Посиди...

К радости старика, всё повернулось не так уж губительно, как думалось ему сперва. Рамка вовсе целёхонька. При месте и всё стекло, только множество белопаутиных трещинок рассыпалось, разбежалось по нему корявыми лучиками от середины, куда, похоже, ахнул старик лбом или подбородком, когда упал со всего маху.

Но стеклина не выпала из рамки. Не высыпалась. Что её держало? Гвоздки по краям? Ой ли... Будь стеклина без целости, разве два гвоздка, каждый мельче ногтя, удержали б её?

У него мелькнула зыбкая догадка:

«А что, если стекло держит не ведомая ни мне, ни кому другому сила – неколебимая сила притяжения, что жила в карточках? Сила эта магнитно притягивает к себе полоски стекла, не даёт им выломиться?»

Подивился старик курьёзности мысли, но склонился к тому, что не будет в том особого греха, если помирится с этой мыслью.

Однако снова понести рамку с карточками к Петру убоился – а не дай Бог развалится! – и приладил её в красном углу вместо иконы, аккуратненько поправил поверху рушник, так что его концы, богато расшитые орлами, сходили по бокам рамки до одной черты.

Глаза уже никудышне служили ему. Он в упор смотрел на рамку, смотрел как-то растерянно-восхищённо, пропаще и не видел, что на стеклине свежее темнело несколько сухих расплюснутых кровавых капель, выскочивших у него из носа – всякое падение чего-нибудь да стоит. Самая крупная закрывала собой, зачерняла крышу и переднее окно в картинном Аннином домке.

«Всё же лишний удар головой об пол ума не набавляет», – на вздохе подумал старик и осторожно, почти крадучись по неосвещённому коридору, перебирая дряблыми подушечками пальцев стены, перильца прогнутой, с продавлиной, лестницы, потянулся наверх.

15

И в пепле искра бывает.

Не дай Бог голодному обед варить.

Начинало тяжело светать, когда бесшумной тенью старик втёк к спавшему у окна Петру; по углам всё ещё жалась ночь. Было тихо.

Свет шёл от окна, самого большого, разгонистого на всём втором этаже (остальные комнаты всё проходные были, с махонькими, с носовой платок, оконцами-слепышами, там постоянно жила, будто на привязи росла ночь), только эта комната, гостевая, знала живой свет дня. День шёл в окно. Старику же казалось, что свет шёл от Петра.

Похоже, Петру было жарко.

Лежал Петро поверх жёлтого одеяла.

Поднеся к низу щеки сложенные руки, остановился старик посреди комнаты, опустился перед сыном на колени, с замиранием дивясь тому, что этот человечище его сын.

«Лысый... Совсем, как я... С сивыми висками... Да будет!..»

Не верилось, что это его сын. Да что из того, верилось, не верилось?

Рос, поднимался Петро на тех же дрожжах, что и Иван, на голоде да на холоде – судьба вертела обоими, как чёрт дорогой. Однако был у Петра козырь, с первого же взора намертво пристегнувший старика к Петру: нажил Петро белого волоса, а даже и разу не держал старик Петра на руках. Когда уходил на заработки, жил Петро ещё в матери.

Мечталось взять при встрече сына на руки. Да куда ж эна неохватну, неводъём велику скалушку возьмёшь, сам попал к нему на руки; и не было у старика минуты выше той, когда плакал на руках у сына.

Видел старик ту площадь у аэропорта, видел себя на руках и, медленно опав на колени, уронил лицо в ковшик раскрытой на краю постели сыновьей ладони со льдисто блестящими мозолями.

Со счастливым усилием разлепил Петро веки:

– Нянько? Вы? – дремно прогудел. – Плачете?

– Плачу, сынку, плачу... Прости... Рос без меня... И разу не посидел у нянька на руках...

– Да что Вы... На коленях?... Не на молитве!

Подхватив отца под мышки, Петро усадил его на кровать, привальнул к себе и только тут, заметив, что сверкает перед отцом в одних трусах, конфузливо намахнул на себя одеяло.

– Я, сынку, не засну нипочем... Сыны в дому! Какой там сон... До сна ли? Всё думал, каких Вас встрену... Всё думал, маленькие Вы у меня, не выше, думал, по сердце мне, а Вы, – нерешительно повёл рукой по крутому Петрову плечу, – переросли меня. Больши-ие...

– На печи дошли, – задумчиво улыбнулся Петро.

– На печи... Не на печи... А и без нянька дети растут в люди. Из беды, из горя сами поднялись...

– А-а... Что вспоминать ту пору?... У других по нашей стороне, думаете, легче? То не люди бедовали – весь свет бедовал! Были мы под панам мадьярскими, были под чешскими... Иначе и не звали: вонючий русин, вонючий руснак. А стали сами по себе – распечатали спрятанную от русина за семью замками радость, каждый себе великий пан. Вон мы уж на что с Иваном работяги, простого калибра, а дочки наши где?

– Постой. Откуда у тебя дочки? Про своих ребяток ты и не заикался.

– А что ж заикаться? Нету... – Петро сел на кровати, обхватил колени поверх одеяла. – Нету, – глухо повторил. Угрюмо опустил голову. – Голый я, нянько, как оглобля.

Старик уставил на сына напуганный взгляд. Почему?

– Пустая мне хозяйка досталась... Неродица. Уж по каким профессорам ни возил, всё надеялся, всё ждал: а может быть, а может быть... А-а... Коли нет счастья с утра, не жди и под вечер. Годы её, годные для детей, сошли. Потеряны. Всё. Надёжи никакой. И разу самодруга¹⁶ не была... Как же оставаться без дитяти? Только для своего зернытка и стоило б даль жить...

– Старая как свет история... Под каждой крышей свои мыши... Я б на твоём месте, гляди, горшок об горшок и разлетелись бы звонкими черепками, – осторожничай, подсказал отец.

– Да я ль про то не думал!? Сколько раз собирался... Не могу! Говорят, может мужчина уйти от любимой и любящей жены, но от стервы – никогда! В том-то и тормозок, что она у меня не стерва какая... Бывало, лежу ночь без сна, ворочаю, перекаत्याю в голове свои неподъёмные гири: вот придёт утро, скажу про развод, обязательно скажу.

А гляну на неё – така-ая жаль полоснёт по сердцу! Куда ж она без меня? Союзом изжили лучшую пору жизни! А под старость выпихни из души на улицу? Ах, роди хоть одного крошутку, из цены из красной не выпала б у меня... Хата с детьми – базар. А без базара – тюрьма. Без своего базара я устал. А через то, верно, и не люблю её уже. Так зато жалею больше любви. Как не жалеть? Она у меня и ласковая, и добрая... Всем взяла. Мода у неё какая спать... Сколь живём, хоть бы раз отвернулась к стенке иль легла отдельно. Всегда голову мне на плечо, а ручонками – она у меня малё-ёхонька, ладненька... с виду девочка, – обовьёт меня за верх руки, держится, как тонущий муравей за щепку, что крутил однажды в водовороте шалый вешний ручей у меня на глазах. Выловил я того муравья из дурной воды, из «бочки». Да кто ж выпнет меня самого из моей гибели?

Доброта, доверчивость, открытость, простодушность, с какими Петро говорил о вещах, о которых вроде и не положено говорить сыну с отцом, поразили старика. Этих простых качеств, составляющих суть души русина, старик давно лишился, лишился не в первые ли поры, когда оказался по эту сторону воды, и этот разговор подвинул, подвёл его к странной для него мысли, что ещё не всё в мире находит цену единственно в денежном выражении.

Старик даже огорчился, пожалуй, несколько искренне, что Петра придавила житейская нескладица. Однако его сострадание длилось не долее мёртвой вспышки падающей звезды. Его хваткий, подвижный ум, натренированный на канадской практике, уже в следующее мгновение оценил эту нескладность как манну небесную, ниспосланную ему, старику, самим Богом.

«Какой гость, такой и калач... Мне, дурило, несваруха твоя в руку. Да, в руку! Кинука я на тебя коренную ставку. Сбанкетует старый Головань, пойдёт ва-банк. И проиграет? Старый Головань работает без проигрыша!...»

В одно время в старике жили двое. И он масло с водой не смешивал. Один, обмирая от явственно накатывающейся удачи в затеваемом предприятии, ликовал впотаях, воровски, не выказывал, не пускал своего восторга наружу; другой же, безвольный, коварный, сориентировавшись, навёл на себя маску сострадальца и убито, стеклянно смотрел на сына.

Петро верил этим глазам, он поверил им с первого взгляда ещё там, в Белках, когда увидел отца с карточки; эти глаза ещё круче привораживали сейчас, приманивали, перед ними невозможно было удержать в тайне накопленное; и если дома, с женой, он год к году становился всё молчаливей, замкнутей, подолгу запирался в себе, то тут, увидав эти родные глаза, отмякнув, выплеснул свою душу: в отце Петро увидел человека, кто был больше чем

¹⁶ Самодруга – беременная.

отец, увидел человека, кому потянуло открыться во всём, выговориться до дна ровно так, как мы о чём-то глубоко личном молчим с близкими и с необъяснимым откровением вываливаем его на суд случайному прохожему; и чем дальше искренничал Петро, ему легчало, всё тесней света втекало в него.

Слушая исповедь, старик смотрел сыну прямо в глаза, смотрел настолько жертвенно, что Петро почувствовал себя невольно крайне виноватым в том, как ему показалось, что расстроил отца своими страхами, а оттого, готовый затащить, загладить свою вину, поспешил подпустить весёленького и себе в голос, и в сам рассказ.

– Вы, нянько, – каким-то новым, насильно бодрым тоном взял Петро, сквозь погибельную угрюмость выдавливая на лицо ущербную, мученическую улыбку, – Вы уж так и не убивайтесь. Не всё уж так и окаянно у меня. Ну, нет детей... Кому-то жить и без детей. И потом, как оно повернётся дальше, а покуда я и не скажу, что у меня вовсе нет детей. Вон у Ивана... – при упоминании брата Петро хорошо улыбнулся, наконец-то невольная фальшь ушла и с лица, и из голоса, – Иван у нас ювелир, дамских дел мастер... – Вон у Ивана четыре дочки, четыре Ивановны... Эх, Боже наш, неодинаково даёшь: одному мечешь, а другому сучишь дулю. Ну да что... Они Ивану дочки, они и мне дочки... У нас дележа нету, всё как одна семья. Что на столе у меня, что в саду в моём выспело, на огороде – заходи, дочушка, бери! Много там надо нам с бабкой? Не голодные, не раздетые... Наличными совать не рука. Так мы подбились как... Вызнаешь стороной, кому из девчатишек что наперёд надобней, то уже и ищешь. В одну получку забежишь с пальтишком, в другую с туфельками, в третью наявишься с платьишком. Всё это несёшь под маркой подарка по случаю хорошей ли, дурной ли погоды. Радости у девчатишек что!

– Да, да. Иван говорил, если б не Петрище, как бы и подымал детворню.

– А, слушайте больше. Наскажет! – энергично возразил Петро и безо всяких мостков-переходов увёл, подпихнул разговор на другое: – Наши дочки по самим университетам уже учат! Одна в Ужгороде, вторая во Львове. А меньшеньки по институтам ещё сами учатся, пасутся... Умка копят...

– Высоко-онько учат и учатся! – неверяще проговорил старик. – Это ж какие толстые надо миллионы гонять! Вон Мария. Магазин целый ювелирный держит на паях с одним с нью-йоркским. Самую ходовую безделицу правит ей сюда на продажу. Какие капиталы льются через её руки, а проучила близнюков своих четыре... точно и не сбреду, сколько-то там классов... что-сь по мелочи ещё и амба. Не на что даль учить... – Старик задумался, в досаде махнул рукой. – Не позавидуешь хлопчакам... Пошли служить к одному. Джин, этот паразит непотопляшка. Разворотистый. Где надо подсуетится, где сплутует, где подмазочкой мазнёт начальству по губёшкам, оно и не скрипит... Тем лукавец и держится. А второй – я его всё Светлячок да Светлячок, а по бумажкам он Гэс, – а второй по части подлости совсем не удался. Русин русином. Обделил его Господь. Забыл бросить в него хоть щепотку подлости, пустил в жизнь честнягой дуралеем. Тяжелей обидеть по нашей стороне нельзя! Такого неотмываемого, смертного греха хлопчаку не простят. Уже не прощают... Полгода вон без работы... А умница, хват, трудяшка. Поучить бы ещё. Да на какие богатства? Год в университете – пятнадцать отдай тысячек зелёных!

– А у нас наоборот. Студенту отваливают по сороковке рубляшей в месяц. Учись только!

– Хвала Богу, что у нас там всё вроде к ладу мажется. Я не стал при всех... Как наша мамка? Читать не научилась?

– Это почему же? Да она четыре раза кончала школу, два заочных университета. Кончает сейчас ещё два заочных института и в одно время – вспомнила детство! – в эту весну подалась в детсад. Там-то она в свой час не была.

Старик улыбнулся простительно:

– Не отдохнул ты ещё с дороги... То не ты, Пётрушка, говоришь. То паленка за тебя говорит.

– Не, нянько, паленку сюда не вяжите... Наши с Иваном домяки рядом. На меже – она у нас так, для блезиру – сладили в саду мамке особнячок. Так она живёт со мной. А это... Ну, полежать после обеда, отдохнуть, побыть одной.

В той хатке стали дочки людьми. Как уроки – туда, в куренёк. Там тихо. Бабка не мешает, только слушает. Там дочки и выучились. А теперько на мамке и внучка Снежана. Невжель неясно что?

– Ясно-то ясно, да... – Старик хитровато прижмурил один глаз. – Так ты, Петруня, говоришь, мамка вспомнила детство? А почему только ей можно такое? Я тоже имею право на воспоминание! Ты, Петрик, добирай, добирай райски сны. А я пойду... А я пойду...

Жива, довольна всем Анна его. Настроена хорошо. И коль ей хорошо – и ему хорошо! И наредил старик...

Через малые минуты стучался он в дом напротив, стучался к одному из тех своих древних товарищей, с кем отправлялся в одной артели в заокеанщину.

Ему не открывали, долго не открывали; наконец-то открыли; горел открывший старец солёно обложить, послать Голованя не меньше матери – надо ж середь сна разгрохотаться, надо ж обязательно сдёрнуть с тёпла гнезда в самую силу сна! – но, увидав, что за одеянье было на прищельце, подрезанно отшатнулся к стенке.

«Чего ж тут-но диковинного? – подумал Головань, с чинной весёлостью оглядывая себя. – Стоило вырядиться, в чём ходили когда-то и я, и ты, Юраш, там, дома, в Белках, стоило показать тебе со стороны тебя ж самого, как ты уже и вроде недоволен. Тебе уже даже вроде того и не нравится, как псу мыло...»

Открывший был ещё во сне, в тёплышке постели, далече был; не ума было ему вскорую сообразить, настроиться на то, чтоб хоть отдалённо понять, поймать видимое.

На Головане ничего не было своего. Всё – с Петра.

По самый подбородок закрывала лицо ведёрная жёлтая клебаня¹⁷ с роскошным пучком колдовских цветов на узких полях; для надёжности дважды схваченная расшитым поясом, стекала до пят сорочка-вышиванка, просторная, до жути размахнувшаяся, будто атлантическая вода; из-под низа вышиванки широченно выставились носы лаковых туфель сорок пятого, раздвижного, размера, державшихся на ногах исключительно потому, что дотумкал-таки Головань натолкать в носы газет и завязать в узел шнурки не на самих туфлях, а уже на ногах выше щиколотки; были на нём и закатанные до самого некуда штаны; можно было, думалось ему, по причине мелкой фигурности воткнуться в одну штанину; одной, пожалуй, с избытком бы хватило. Но что тогда делать со второй? Не отпарывать же!

Головань сиял. Он был во всем сыновьем! Зуделось ему, чтоб молодая, очумело-большая его радость перетекала в близких ему людей из верховинской кучки. Однако этим близким людям не радость несла это зоревая встреча, вовсе не радость. Недоумение, отчуждение и, что заметней всего проступало, было у них большое желание поскорей избавиться от блажененького полуночника.

– Вам чего треба? Пить чи воды? – угрозливо наконец-то прошамкал Юраш, не отворачиваясь от Голованя и пятясь, утягиваясь в глубь коридорной ночи. – Совсем выпал из разума... Как дурень с печи... С каламанки¹⁸ разыгрывать!

В ответ Головань поясню кланялся, без обиды говорил, что принёс поклон с родного краю и в доказательство протягивал в сумрак пластинку про Верховину.

¹⁷ Клебаня – шляпа.

¹⁸ Каламанка (презрительное) – водка.

– Сыны навезли полных два десятка таких пластинок. Берите! Слушайте с утра!

Обеими руками решительно заотмахивался Юраш от подаваемой пластинки, будто от беды какой невозможной.

– Бачу! Гарно туй¹⁹ бачу, што за сынки нагрязнули! – ядовито брунчал из темноты, с опаской взглядывая на свежую ссадину на лбу у Голованя, на запёкшуюся кровяную точку под носом.

– Аха... Нагрязнули! Оба-два! – сановито светился лицом Головань. – Присоглашаю... Приходите вечером на забаву...²⁰ На верховинскую приходьте колбаску... А Вам и подарок... Через сынков Лиза, дочка Ваша, прислала своей брынзы да сала...

Мрачный Юраш выступил с засовом на мерклый свет.

Стал медленно, вызывающе закрывать дверь.

– Но Вы ж просили ей прислать под удачу, – сдавленно прошептал Головань в полумрак закрываемой двери.

Ни в первом доме, у Юраша, ни в десятом никто не взял у Голованя песню про Верховину, никто не поверил его словам про приезд сынов – люди шарахались от него, закрывали перед ним двери, закрывали, захлопывали так, что вздрагивали дома; старик не обижался, ему было хорошо, он был во всем сыновьем, он говорил всем правду, хотел рассказать свою правду всему городу, рассказать сейчас, на первом свету дня, не в силах дожидаться, когда день войдёт во всю свою власть; покончив с приглашениями, старик присел передохнуть на скамейку в скверике и в счастливой усталости уснул сидя с улыбкой на лице.

А над ним тянулось, клубилось тёмно-серое, сизое сукно низких комковатых туч.

¹⁹ Туй – тут.

²⁰ Забава (здесь) – вечеринка.

16

*И на молодых еетях колючки растут.
На своём пепелище и курица бьёт,
а петух никому спуску не даёт.*

А вечером в названный час никто из гостей не пришёл.

– Ну и не надо. Нам больше достанется, – с весёлой грустью сказал старик Головань. – Баба с воза, спицам легче. Люди мы маленькие, холодильные шкафы у нас здоровые. Перебедует!

А ведь не бегают худо без добра. Нет большой потери без хотя бы малой выгоды.

Все, кого созывал старик ранним утром, не заменят и срезанного ногтя того, кто сам, не зван пришёл, но кто желанный тут во всякую минуту, покуда жив старик, покуда жива баба Любица. Пришёл Гэс!

– Э-э-э... Светлячок! Светлячо-ок!.. – дрожа вскинутыми для объятий руками и семена навстречу Гэсу, застонал старик, и всё в доме пришло в движение.

Выбежала старуха. Выбежала Мария. Вывело любопытство Петра с Иваном.

Петру с Иваном было неясно, чего ж это оповещать всему миру, что наявился какой-то русявый сампатыга парень, и они скучно принялись просто наблюдать, что же будет дальше, поскольку повернуться и вот так просто уйти им показалось неудобным.

Замерев в углу гостиной, старуха сложила руки на груди и сострадательно, сквозь печальные слёзы смотрела на парня.

Мария, отжав плечом старика от парня, повалилась парню на грудь и заплакала настояще, как про себя почему-то отметил Петро.

Парень тихонько гладил её по спине, в конфузе краснел и молчал.

Восторженно допытывался дед:

– Какими судьбами, роднушка?

– Узнал, что к Вам, к русинам...

– Мы, Светлячок, – перебил старик, – не дуже гордые... Мы и на руснаков откликаемся...

– Вот узнал, что к Вам в гости нагрянули русины с Карпат. Зашёл посмотреть...

– Ка-ак узнал?

– Проблема! Да в нашем Калгари удержи новость на запорках! На одном конце чихнёт бычок, на другом ему желают крепкого здоровья.

Вылив первые изобильные слёзы, Мария, не переставая плакать, не выпуская парня из рук, словно боясь, что он может снова незаметно пропасть, присела на краёк старого дивана, стоял позади, судорожно давила книзу сынов локоть. Садись!

– Как ты так можешь?! – горестно, неутешно заглядывая парню в самые зрачки, кинула отрывисто. – Ушёл – и нет целую неделю. Вот так сынок!.. К сердцу камень пудовый... Что ж тебе немило в родном доме?

– Хотя бы то, – с холодным вызовом отвечал Гэс, – что там слишком мило твоему Джимми. Какую гнусность ни сотвори, одни умиления, одни ахи. Ах Джимми!.. Ах Жи!.. Молись на него!.. Да моей ноги не будет в доме, пока он там!

– О Господи, – скорбно всхлипнула Мария и гнетуще повела вокруг глазами, точно призывая всё живое и мёртвое в свидетели. – Как и подымается язык на такое... Почему же это вы, одной крови братья, близнюки, не можете вместе и минуту быть под одной крышей? Неужели вы только и могли ладить, пока жили вот тут у меня? – опустила вялые плечи рук к себе на живот. – Неужели от вас, – искательно, просяще смотрела Мария сыну в лицо, –

неужели от вас и вся радость, пока носила вас под сердцем? Ну почему, ну почему я сейчас должна лечь и встать со слезами? Я мать... – Мария снизила голос до обиженного шёпота. – Понимаешь? Я мать... Я обязана знать, чем занимается мой сын. Я обязана знать, что ест мой сын. Наконец, я обязана знать, где же обитает целую вечность мой сын... Я ж тебя не на улице нашла...

Гэс повинно, уступчиво погладил мать по плечу, ободряюще стиснул ей погибельно тонкий локоток.

– Пожалуйста, засыпай спокойно. Я не хроник²¹ какой-нибудь... Не наркоман. Скорая «белая радость» не прельщает меня... Городишко наш не такой уж конченный, как думалось раньше. Я открыл для себя квартал, где «Кому на Руси жить хорошо» читают без перевода.

– На какой? – машинально спросила Мария.

В глазах сына блеснуло недоумение.

Действительно, на какой надо переводить, чтоб можно было сказать, что это наш язык? Ведь в городе что ни квартал – новое землячество. Со своим рисунком дома, свои свичаи да обычаи, свой язык. Но одного, общего языка, роднящего всех, – такого единого языка нет в городе, не говоря уже в целом о стране.

Да что цепляться за всю страну? Возьми ту же голованьскую веточку. Крохотка семья. Но даже у неё не один язык. Дидыко говорит по-русски, бабушка – по-словацки. Языки схожие. Старики порядочно друг дружку понимают.

Мария, конечно, знала и русский, и словацкий, – отец у неё был русский, – да тянется Мария из последнего к английскому. Видимо, это у неё на роду. С Богом контракт не подпишешь. Уже с детьми Мария не проронила ни слова русского, ни слова словацкого, только по-английски, всё только по-английски, потому, упрямая, и упекла и Гэса, и Джи в английскую школу.

Слава Богу, школа школой, но когда Гэс услышал русскую речь, его пронзило всего доступностью, ясностью, близостью этого языка ему, он заговорил на нём скоро, легко, и было у него такое ощущение, что он слишком долго молчал, оттого молчал, что просто не с кем было говорить (говорить-то было с кем, но не его то был язык лающий, в насаду ему было ворочать мельничные жернова чужих слов), а тут проломился, заговорил лучисто, раскованно, вольно!

Тяжело смотрел Гэс на Марию.

– Отчего ты так смотришь на меня? – пропаще спросила Мария.

– Всё пытаюсь понять, – надломленно отвечал льдистым голосом Гэс, – зачем тебе понадобилось отдавать меня в английскую школу? Зачем тебе надо было вырывать меня из одной почвы и пересаживать в другую вверх корнями?

– Мой мальчик, – глухо защищалась Мария, – когда я тебя слушаю, у меня распрямляются крепко закрученные извилины. Я глупею твоей глупостью.

– Извини, дорогая, – Гэс выставил ладонь щитком. – Тут полное самообслуживание. Твоя выходка со школой доказывает, что ты прекрасно обходишься собственной глупостью. И не тверди мне, что английский – государственный язык. Я не понимаю государство, которым из-за тридцати вод правит чужая королева. Я не понимаю государство, которое в официальные языки взяло языки своих же завоевателей и отмело языки своих коренных жителей, индейцев и эскимосов. В таком государстве каждый сам себе государство. Дидыко как что – поёт своё: у нас вот, в Белках... Бабушка: у нас, в Словакии... Ты: у нас, на Бродвее... Спишь и видишь себя на Бродвее, в штаб-квартире твоего компаньона. Что же здесь Вас держит? Доллар? Вам же всё здесь чуже. Все Вы родились в разных странах, там

²¹ Хроник (жаргонное) – хронический алкоголик.

выросли и только беда собрала Вас под одну канадскую крышу. Если помнишь, канадой называлась хижина местных индейцев. И кто мне скажет, что же такое нарисовано на канадском флаге, что это пришлось прикрыть кленовым листочком? Молчите?.. Эта земля дала Вам в лихочасье крышу, дала пищу, только за эту землю Вы не пойдёте умирать, потому что есть вещи намного важнее надёжной крыши, намного важнее сытного куска. Есть Родина... Вот почему, вставая из-за канадского стола, Вы думаете, вы грезите о давно покинутых краях, – Гэс значаще глянул на бездельно жавшихся в углу стариков, – а кому, – он мягко поднял за концы пальцев руку матери, подержал мгновение на весу как бы взвешивая, с медленным тщанием, с печальным укором повёл свободной рукой по холодному золоту на её сине-мёртвых пальцах, заговорил колюче, осудительно, – а у кого Бог взял память и кому не вспоминаются свои места, которые ведут чистые сердца и на бой, и на верную смерть, если надо, тот день-ночь лишь гадает, как бы пожирней выловить кусок из мутной водицы и лакейски лупится в бродвейскую даль...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.